



АНДРЕЙ РУБАНОВ

БОРИС ЕВСЕЕВ

АНДРОНИК РОМАНОВ

ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ

АНДРЕЙ ИВАНОВ

ВАДИМ МЕСЯЦ

ДАНИЕЛЬ ОРЛОВ

И ДРУГИЕ

КОЛЛЕКЦИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

ЖИТЬ!



Коллекция современного рассказа

Андрей Рубанов

Жить! (сборник)

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Рубанов А. В.

Жить! (сборник) / А. В. Рубанов — «Эксмо»,
2018 — (Коллекция современного рассказа)

ISBN 978-5-04-093309-9

Жизнь человека похожа на полосу препятствий: случайные события, кажущиеся случайными лишь на первый взгляд, череда фатальных обстоятельств, неожиданная потеря — и вот уже от привычной уютной предсказуемой жизни не остается ничего, кроме ностальгии и старых фотографий. Эта проза о том, как выбраться из закручивающейся, тянущей вниз воронки, как, пережив подобное, жить дальше. Личный опыт молодых и маститых писателей, чьи имена стойко ассоциируются с качественной современной литературой.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-093309-9

© Рубанов А. В., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Андрей Рубанов	5
Борис Евсеев	11
Валерий Бочков	23
Олег Рябов	34
Андрей Иванов	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Жить!

(сборник)

Андрей Рубанов
Тубанар

В начале мая по ночам меня стал бить сильный кашель.

Через месяц я сдался докторам. Они просветили мое тело вдоль и поперек и определили туберкулез, и я очень обрадовался.

Думал, рак легких, приготовился к худшему.

Тяжелые болезни посылаются нам во избежание еще более тяжелых болезней.

Неприятности, проблемы, катаклизмы, и войны в том числе, посылаются во избежание еще более крупных проблем, катаклизмов и войн.

Примерно за два года до того, как все началось, мне был знак.

Я вдруг стал испытывать страх инфекции.

Никогда у меня не было таких страхов, всю жизнь пил из грязных стаканов, докуривал чужие сигареты, обменивался рукопожатиями с больными СПИДом. Мой круг общения всегда наполовину состоял и до сих пор состоит из подонков, убийц, барыг и наркоманов, многие сидели в тюрьмах и лагерях, многие инфицированы гепатитом, менингитом, туберкулезом и черт знает чем.

Глупо бояться заразы, проживая в нижнем слое общества.

Но я вдруг стал бояться.

В метро ловил себя на том, что стараюсь отодвинуться от людей, особенно от бедно одетых азиатов. Отворачивал лицо.

Зимой и осенью перчаток не снимал.

Стал обращать внимание, как много вокруг кашляющих, чихающих и просто распространяющих зловоние.

Эта фобия – страх заразы – то появлялась, то исчезала и никогда не мешала мне. Это был не страх даже, а внезапно возникающий фантазм, важен был не он сам, а то, что его никогда не существовало – и вот он появился.

И сбылся спустя два года.

Теперь мне пришлось собрать манатки и сдать в приемный покой больницы.

– Два месяца, – предупредили врачи.

Я почувствовал ужас.

– Это минимум, – добавили они.

Разговор произошел накануне; потребовалось несколько дней ожидания, прежде чем освободится койка; мне предложили на выбор новую больницу на окраине или старую в центре Москвы, я выбрал центр и не прогадал.

Двухэтажную, жирного красного кирпича больницу построили больше ста лет назад, и сначала тут была богадельня, шаркали ревматическими ногами дореволюционные старушки и старички. Теперь ни следа от них не осталось, и по гулким коридорам под высокими потолками прохаживались в разных направлениях вялые люди в спортивных штанах, с лицами цвета старого асфальта – туберкулезные больные. О старых временах напоминали только сама архитектура, полукруглые окна, и еще часовня на втором этаже, напротив главного входа. В часовне теперь устроили столовую. Пожирая утреннюю кашу без соли и сахара, я имел возможность

поднять глаза и прочитать на стене какую-нибудь фразу на церковно-славянском, вроде «Спаситися душам нашим».

Ситуация была неприятная, но не составила для меня большой драмы; наоборот, попадание на казенную койку означало символическое дно, конец одного важного периода и начало другого.

Чтобы пойти вверх, надо опуститься на дно и оттолкнуться.

Мне было сорок семь лет, опыта достаточно. Я знал, что, если у человека случается спад, человек не может преодолеть этот спад простым усилием воли.

Спад остановится сам.

Человек будет скользить вниз, пока не достигнет нижней точки.

Конечно, я не собирался терять в четырех стенах два месяца быстротекущей жизни – в моих планах было задержаться на две, допустим, недели, максимум на три, до выяснения точного диагноза, а лечиться можно и дома.

Сосредоточенные женщины в белых халатах споро оформили новичка и отвели на второй этаж и показали пальцем: вот твоя палата, вот твоя койка.

Мы, конечно, понимаем, что новичок заранее принял неприступный, «набыченный» вид: он полагал, что туберкулезная больница – это что-то вроде филиала тюрьмы или следственного изолятора. Где же современному человеку подхватить заразу, как не в тюрьме?

Новичок был, увы, не новичок в делах вынужденного сожительства. Пять лет жизни, половину молодости, он провел в армии и в следственной тюрьме, и он приготовился к спорам по поводу места в тумбочке, в шкафу, в душевой кабине, возле открытой форточки или батареи центрального отопления.

Но в палате оказалось всего трое, и все они спали.

Я лег и тоже заснул, чтоб не отрываться от коллектива.

Палата на четверых, разделенная перегородкой; по двое недужных на каждой половине. Большую часть суток все спят, и я тоже.

Очевидно, нам дают какое-то снотворное или успокоительное, мы спим по двадцать часов, а когда не спим – ходим медленно, пошатываясь. На наших серых лицах одинаковое выражение неудовольствия. Нам не нравится, что мы нездоровы. Наша болезнь злит нас, мы хотели бы оказаться с обратной стороны больничного забора – но нельзя. Мы заразны.

Мы спим, это примиряет нас с реальностью.

Даже Леня спит: наш неофициальный старожил, ко всему привыкший. Его лечат уже три года, но без особого успеха. Препараты, трижды в день вливаемые в наши тела, действуют на всех по-разному, вот у Лени индивидуальная устойчивость. Точнее, не у самого Лени, а у бактерий, поселившихся в его легочной ткани. Зато невезучий Леня испытал на себе побочный эффект лечения: от приема лошадиных доз антибиотиков у Лени повредился слух, теперь Леня все время слышит в ушах свист. И во сне тоже.

Напротив Лени спит Григорьич – его, по слухам, скоро выпишут. Он отделался легко, восемью месяцами. Он дышит шумно и свободно, он крепкий грузный мужик с низким голосом, он в точности соответствует своему имени – такие грубые сильные григорьичи всегда есть рядом с нами, они заведуют гаражами и хозяйствами, они выбираются в среднее начальство, они разбираются во всех сферах жизнедеятельности, они крепко стоят на ногах, они любому готовы дать совет или подзатыльник.

Эти двое – наши старожилы, а мы за перегородкой, я и Макс, он лежит второй месяц, по местным меркам – ничего.

Макс – идеальный сосед: на его груди ноутбук, в ушах – провода, в руке – телефон. Макс не и тридцати, он весь опутан проводами – если он не спит, он в сети.

Иногда на моей груди тоже появляется экран, и, на взгляд входящих медсестер и врачей, мы с Максом, наверное, составляем комическую пару: двое молчаливых, с одинаковыми проводами в ушах.

В нас, четверых, воткнуты иглы, и по трубкам в наши вены медленно втекают жидкости самых невероятных химических цветов. Бледный серо-желтый, напоминающий авиационный керосин, или, например, мутно-оранжевый.

Если мы не лежим под капельницами – мы все равно лежим, чтобы унять тошноту или головокружение.

Мы встаем, только чтобы справить нужду или поесть.

Еще трижды в день нам нужно выйти в коридор, получить горсть таблеток и тут же на глазах медсестры сожрать. Таблеток много, они огромны, и проглотить их сразу не получается, но на третий день я уже умел.

Мы – мирные, бесшумные зомби, у нас нет сил даже на то, чтобы разговаривать в полный голос.

Вчера к нам вкатили пятую койку и подселили новичка, очень простого на вид человека, с оттопыренными ушами, испитого и морщинистого; дела его были совсем плохи, он едва ходил и кашлял так, что звенели оконные стекла.

Едва растолкав манатки по шкафам, он заперся в туалете и выкурил там сигарету. Дым мгновенно учуяла медсестра; прибежала, маленькая, энергичная и грубая казашка Гуля, устроила скандал. Курение каралось мгновенным изгнанием из больницы. Новичок извинялся, голос его скрипел.

Длиннорукий, очень сутулый, впалая грудь – я решил, что он пролетарий, и не ошибся. Пришел врач составлять анкету, спросил, кем работает.

– Шофером.

– Что вы возили?

Он подумал и сказал:

– Коробки.

– Вы говорили, что похудели. Какой у вас сейчас вес?

– Семьдесят.

– А до того, как заболели?

– Сто двадцать.

– Вы похудели в два раза и не придали этому значения?

Шофер опять подумал, и морщины на его лбу покраснели.

– Нет, – ответил. – Подумаешь, похудел.

Расспросы, однако, продолжались недолго, с шофером было все ясно. Спустя полчаса медсестра Гуля воткнула ему капельницу, и он затих.

Ночью я проснулся от его храпа.

Это был храп алкоголика – то громче, то тише, с протяжными стонами-завываниями, со скрипением зубов; может быть, шоферу снилось, что его бьют или отнимают честную шоферскую зарплату. Я надел штаны и вышел за перегородку.

Шофер лежал лицом вверх поперек кровати, ногами на полу. Я увидел, что значит похудеть в два раза. Его бедра были тоньше щиколоток; кожа свисала морщинистыми складками.

Леня не спал, и Григорьич тоже.

Я потряс шофера за плечо.

– Бесполезно, – сказал Леня.

– Пробовали, – сказал Григорьич. – Не будится.

Шофер продолжал храпеть. Я потряс сильнее, твердо решил разбудить. Даже в тюрьме, по строгим арестантским обычаям, спящего можно толкнуть, если тот сильно храпит. Так что

я был в своем праве. Но шофер только стонал, а потом и вовсе запрокинул голову, выставив острый кадык, и из горла потянулся сиплый вой:

– Б-ы-ы...

Григорьич сел в кровати.

– Твою мать, – сказал он. – Это диабетический шок. У него диабет, я слышал, он врачу говорил. Сахар в крови упал. У меня так тоже бывает.

На шум прибежала дремавшая в коридоре медсестра.

– Может и помереть, – сказал Григорьич.

Через пять минут в палате было тесно – пришли дежурный врач, и еще один из реанимации, и медсестра со шприцами и ампулами.

Шофера трясло в конвульсиях. Я держал за ноги, врач из реанимации – за руки. Потом меня сменил Ленья. Медсестра двигала шоферу один укол за другим.

Лично я считал, что у шофера – белая горячка. Как раз пошли его вторые сутки вынужденного отказа от выпивки, самое время начаться галлюцинациям, а может, и психозу, зависит от того, сколько он употреблял ежедневно.

Но реальность современной медицины оказалась, как всегда, богаче моих дилетантских домыслов: больному вкололи в вену и в задницу множество самых разных препаратов и быстро привели в чувство.

В какой-то момент он обмочился, но это входило в логику ситуации. Чего же не обмочиться на радостях, если едва не умер?

Очнувшись, он стал извиняться перед всеми – на него сверху вниз смотрели шестеро – и умолять дать ему возможность переменить трусы. Он порывался встать, но вставать было нельзя; он хотел было, но врач из реанимации удержал.

Когда врачи ушли, я, Ленья и Григорьич подняли шофера над постелью за руки и за ноги, а медсестра поменяла простыни.

Шофер сипло возражал, но Григорьич велел ему заткнуться и отругал за то, что тот не следит за своим здоровьем.

По-моему, я что-то ему сказал, «бросай пить, друг» или что-то в таком роде. Может, не сказал, а подумал. Голова работала плохо, в меня каждый день вливали литр самых злобных антибиотиков, которые существуют в природе. И вся история с шофером меня только разозлила. Шофер был в любом случае не жилец; мой ровесник, он выглядел на шестьдесят. Он явно трудно добывал свой хлеб, и его ждало безрадостное будущее: он должен был умереть в ближайшие три-четыре года от водки или болезней, вначале незаметных из-за пьянства. Человеку нельзя физически опускаться – мы рождены прямоходящими и никогда не должны опускаться к земле свои лица и плечи.

Скорее всего, я ничего не сказал, а молча ушел и уснул.

А сосед мой Макс и вовсе не слышал происходящего. Он тяжело переносил лекарства и вообще плохо соображал.

Утром шофер все-таки встал. Я слышал, как он шаркал и пыхтел за перегородкой, звенел ложечкой в стакане – оклемался, в общем.

В тот же день его увезли в реанимацию.

После него в туалете остался вонючий дым и плавающий в унитазе пакетик с чаем.

Из реанимации его уже не вернули – не умер, конечно; скорее всего, перевели на первый этаж. Я его больше не видел.

На его месте в тот же день оказался новый человек, мальчишка лет двадцати.

Он заселился не один, с ним пришла жена, такая же юная, розовая толстуха, одетая под эмо, в розовое и черное, очень деловая. Она сама проверила матрасы и застелила постель собственным, с собой принесенным, бельем.

С врачом они разговаривали вдвоем, и на вопросы отвечала в основном именно толстая шустрая жена.

Это были настоящие взрослые дети.

Оказалось, что у двадцатилетнего мужа эпилепсия и какие-то еще отклонения по психиатрической части, – я не слишком прислушивался.

Розовая толстуха ушла, покормив мужа из термоса чем-то жареным. Она мне понравилась. Я специально вышел в коридор, чтобы посмотреть. Девчонка была некрасива, но прекрасна, она крепко держала парня в руках.

Наступила пятница; на выходные дни многих больных неофициально отпускали по домам.

Ушел Леня. Ушел Григорьич.

Эти двое были насквозь пропитаны лекарствами и не представляли для общества опасности.

Макс никуда не ушел, ему не разрешали даже выходить на улицу. Ему запретили и курить. Ему доставалось больше всех нас, втрое больше разноцветной фармакологии. Его привезли с кровохарканьем и собирались, в случае ухудшения, хирургически удалить пораженную бактериями область легких. Врачи пообещали Макс, что отпустят не раньше, чем через год. Если бы не компьютер и не Всемирная паутина, Макс, может, сошел бы с ума.

Мне тоже не разрешили уйти, да я бы и не смог.

Наслаждался покоем, не выходя из горизонтального положения.

Я всегда любил выходные дни, даже если сам работал семь дней в неделю с утра до ночи; эту общую приподнятость, расслабленность, атмосферу законного праздника: небольшого, но зато неотменяемого. Самые энергичные и трудолюбивые люди по субботам и воскресеньям становятся вялыми и не спешат отвечать на входящие телефонные звонки. В больнице – то же: не так зычно переговариваются уборщицы, и не вбегают нервная медсестра, требуя немедленно сдать кровь на анализ.

Весь день я просуществовал в непривычном состоянии овоща, дремал, жевал или смотрел кино.

Во второй половине дня к Макс, пришла его девушка, и я вышел из палаты, чтоб дать им возможность побыть вдвоем. Девушка, как я понял, всерьез любила красивого высокого Макса, иначе зачем бы ей приходиться каждый день, рискуя заразиться? Конечно, таким образом она старалась доказать свои чувства.

Впрочем, она побыла недолго. Может, полчаса. Когда я вернулся на свою койку, глаза у Макса блеснули. Я за него порадовался.

Мальчишка-эпилептик иногда подавал голос из-за перегородки: звонил жене и что-то излагал в подробностях. Простые люди умеют очень подробно рассказывать друг другу о разных мелочах, дует ли из форточки, болит ли зуб, а особенно кто, кому и что сказал, и зачем обидел, и что имел в виду. К счастью, ближе к полуночи мальчишка утомился.

Ночью у него начался приступ. Я проснулся от всхлипов и бульканья слюны. Я видел достаточно эпилептиков и понимал, что происходит. Надо было вставать, идти к нему, перевернуть на бок, а в идеале вставить меж зубов что-нибудь твердое, чтобы несчастный не проглотил собственный язык. Надо было, наверное, позвать медсестру. Но я не встал, никуда не пошел и никого не позвал. Лежал и равнодушно слушал, как он хрипит и сотрясается.

Я решил, что встану, если он будет задыхаться всерьез. Мне казалось, что, если начнется полноценная агония, если бедолага начнет захлебываться слюной, я пойму, почувствую момент и тогда помогу.

Но если бы я ошибся, если бы он умер – я бы не чувствовал за собой никакой вины.

В прошлый раз я встал и помог, шофера спасли от диабетической комы, от смерти. Но чудесное спасение ничего не изменило. Люди, остановившие собрата на краю гибели, только вздохнули и тут же разошлись кто куда.

В этот раз я не встал и не помог, потому что это тоже ничего бы не изменило.

Еще один больной. Еще один спасенный.

И если бы он помер, этот мальчик, никто бы не обвинил меня в бездействии. И даже косога взгляда не направил бы в мою сторону.

Я отвечал только перед Богом. Но появись сейчас Бог или его ангелы, упрекни меня в черствости – я бы молча кивнул. Ну да, черствый.

Но бесконечно менее черствый и беспощадный, чем сам Создатель, согнавший нас, костлявых, серых, кашляющих сипло, в одно место и заставляющий гнить заживо.

Зачем он наградил человека, в его юные годы, целым набором тяжелых хворей?

Ну и, конечно, в голове все время крутилась одна и та же мысль, знакомая множеству людей. А может, вообще не надо никого лечить? Может, хорошо бы слабым умирать в младенчестве, чтобы планета доставалась только сильным, здоровым, краснощеким особям?

Я слышал, как хрипение за перегородкой становится тише и затем прекращается совсем. Мальчишка задышал ровнее. Обошлось, подумал я. Помощь не понадобилась. Кто-то другой помог.

В воскресенье вернулись Леня и Григорьич, оба деловитые и возбужденные. Принесли мешки с харчами, затеяли пир, пригласили и меня, и Макса, но мы оба вежливо отказались. От запахов нас только сильнее тошнило. Григорьич с полным ртом рассказал о своих приключениях. Разбил машину. Жизнь Григорьича была со всех сторон налажена и продумана, вечером пятницы сын пригонял ему автомобиль, и выходные дни Григорьич проводил за рулем. Теперь вот попал в аварию.

– Солнце ослепило, – оправдывался он. – Въехал в стоящий автобус.

– Не понос, так золотуха, – мирно отвечал Леня.

– Ничего. Выпишут – все проблемы разрулю сразу.

Спустя час Григорьичу стало плохо, открылась рвота. Снова пришел дежурный врач, и после пяти – семи вопросов диагностировал у пациента тяжелое сотрясение мозга. Оказалось, Григорьич не просто протаранил автобус, но сильно ударился головой.

Григорьич возражал, что голова у него крепкая, что удара он даже и не заметил, но, когда ему велели лечь на каталку, подчинился сразу. Его увезли в реанимацию.

А я снова заснул.

Уже было понятно, что в этой палате я – самый здоровый человек.

Борис Евсеев Ехал на Птичку Иван Раскоряк...

1

На горбу мешок с кормом. В руках птичьа порожняя клетка. С головы съезжает «пыжик» с надорванным ухом.

Ваня встал со звездой, вышел затемно, к первому автобусу. И то: добираться ему на Новую Птичку – на Новый Птичий рынок – чуть не три часа. Снегу почти нет, скоро весна, но по утрам холодно, и одет Ваня во все теплое: длинная куртка с подстежкой, ватные штаны, сапоги армейские.

Идти к автобусу далеко, неудобно. Раньше б оно – все ноги переломал, а теперь легче: здоровенная круглоколесая реклама днем и ночью сыплет искрами, булькает красно-синим газком, автомобильное колесо без конца вертит.

Клетку волоочь на Птичий неудобно, а ничего не поделаешь. Здесь, в Перловке, за нее гроша ломаного не дадут, а там, глядишь, – полторы сотни отваят.

Денег у Вани нет совсем. Дома пять сотенных бумажек, на черный день. В кармане – десятка с мелочью: на обратный путь. Туда-то, на Птичку, «за так» ехать придется.

Но только отъехали – контролеры, мать их. «Гражданин, ваш билет... Как не стыдно государство омманывать. Еще выражается...»

Тут еще и водитель добавил: «Он не брал, не брал, так прошмыгнул!»

Ссадили. Ваня потоптался на месте: клетка на дороге, мешок в руке. Автобус – пригородная «трехсотка» – не спеша укатил. Женщина-контролер, румяная до красноты, сквозь заднее стекло все глядела на Ваню. Улыбалась чему-то.

Невдалеке за навороченной эстакадой – Москва. Вроде рядом, а пешедралом – полчаса.

Ваня закинул мешок за спину, подхватил клетку, выбрался на Окружную, стал голосовать.

2

На Птичке по четвергам не так чтоб людно. Основной народ к выходным подвалит. На саму Птичку Иван не пошел. Встал метрах в тридцати от входа. Корм для рыбок продавал долго, почти до обеда. А клетка непроданной оставалась. Да и кроме клетки было еще кое-что: то, за чем ехал.

Ехал же Ваня на Птичку для смутного дела. Грызло оно его и терзало, хоть таблетки пей! Но таблетки Ваня пить не стал. Сюда, на Птичку, выбрался. Он и раньше кое-что продавал близ Птички. Но не часто. Дух на новой Птичке – не тот. Не запах, не воздух – именно дух! Старую Птичку Иван любил. А вот к Новой никак приспособить себя не мог...

Клетку никто не брал – старая, грязноватая, хоть и мыл, и чистил.

«Так и вечер скоро...»

Ваня в сердцах несколько раз раскрыл и закрыл дверцу, клетка звякнула, маленькая щеколда на дверце обломилась, он кое-как щеколду прикрутил, смачно плюнул, двинул, на саму Птичку, на рынок.

3

Ох и бедлам на Новой Птичке! Люди-звери и звери-ангелы. Простаки, мудрецы, хитрованы. И, главное, чуть не намертво приросли все друг к другу!

Но... Разные звери – разные люди! И характер у человека – как у его зверя. А иногда звери и птицы на людей, как две капли воды, походить начинают.

Грызунов продают – жадные, запасливые.

Птиц – растеряшки мечтательные.

Гадов и крокодилов – люди древние, люди далеко и крупно видящие.

Домашней птицей – жестокие торгуют. Животных – это Ваня знает точно – убивать на рынке запрещено. А эти, для клиентов – нате вам, пожалуйста, – курам головы наотмашь рубят!

Еще – голубятники. Те все почти урки. Голубей тихо и гадко придавливают, чтоб, значит, в неволе яиц не клали.

Но сцепляет всех тех человек, отбирает по норову и по людской масти расположение рыночных рядов.

Самый ближний к Ване ряд – кошачий.

Глаза у кошечек веселые, добрые. Мордочки счастливые. Только с чего бы это? Ваня знает с чего. Поэтому – скоренько дальше.

Дальше – гады. Их правда и называть так не хочется. А как? Ваня роется в памяти. Точно, рептилии! Черепахи с гнилыми легкими, ужи-змеи – клубками, игуаны крокодилистые, все иное прочее: серое, мерцающее, больное, здоровое – перемешано, перекручено...

За черепашым рядом – собаки. Тут наметанному глазу все становится ясно окончательно. Есть, конечно, меж собак и здоровые, есть и бодрые. Но... переросточки они все! Месяца им по три, по четыре. А для продажи надо куда как меньше: полтора, от силы два месяца. Некоторые щенки – для веселости и форсу – наркотой напичканы. Это Ваня по блеску глаз сразу определяет. У него ведь только по недоразумению – диплом техника. Надо было в зоотехники, в звероводы идти! А так – ни техник, ни зоотехник, вообще никто.

Ваня обмахивает с лица грустняк, медленно движется по направлению к любимому ряду, к птицам.

Тут как назло – ушлаган знакомый. Торк Ваню в бок:

– Про должок, Ванятка, забыл?

Долг не ахти какой, сто двадцать рублей. Но ушлагану не долг важен – Ваню поприжать требуется. Поэтому без слов, половину приторгованного, ушлагану в карман: отстань на фиг!

Вдали Елима Петрович показался. С Ваней у него давние счеты. Не пускал Елима его еще на Старую Птичку, гнал оттудова и страшал, пригородной шелупонью обзывал. А за что – так до сих пор Ваня и не понял.

Завидев Елиму Петровича, Ваня присел на корточки, и ну первую попавшуюся собаку по уху щелкать!

Елима Петрович – розово-лысый, вширь раздавшийся – хоть и хозяин почти половине рынка, а каждую мелочь до крохи помнит. Ходит, смотрит, закорючки в блокноте рисует.

Долго в собачьем ряду Ваня выдержать не мог. Приподнялся, увидел: Елима Петрович все вокруг осмотрел, назад возвращается. Тут Ваня в ряд птиц и вступил.

И сразу еще одна напасть: «сестра-хозяйка», Пашка.

Познакомились чудно. Курили как-то близ рынка. Ваня матом выражался, Пашку за газировкой гонял. А потом Пашка-пацан шапочку лыжную скинул – оказалась девка. Лет двадцать, не больше. Младше Вани лет на восемь.

Душевно они тогда покалякали, а потом Пашка волосы опять прибрала: не хочет девкой быть на рынке, боится. А с Ваней обещала встретиться когда угодно и где угодно.

Только давно это было. Ваня тогда смерть жены переживал, настоящего внимания на Пашку не обратил. Зато сейчас она в него как рак тот клешней вцепилась.

– Все, все, отстань! Потом подходи, после!

Никак не займется Ваня птицами. А надо. Душа горит!

Давно он задумал одну штуку отчубучить: выпускать всех рыночных птиц, к ядрене фене! Да не так выпустить, как продавцы предлагают: «Загадай желание, давай полтинник, отпусти голубя». А тот голубь два-три круга над рядами сделает и к хозяину вернется. Не так. Пусть все летят! Зима кончается, авось не померзнут. Все лучше, чем в клетках себе шеи сворачивать!

Только как же им из рыночного ангара вылететь?

Но и это обдумал Ваня. В крыше широкое отверстие есть! Да и двери, если их все отворить, птицы найти смогут:

Летела гагара
По краю ангара...

Раньше Ваня «не доезжал»: куда это непроданные птицы с рынка деваются? Потом понял – куда. Потому-то и хочется Ване всех их – на волю! Пусть летают. Смерти случайной не боятся, жизни постылой не стыдятся...

– Мэтинг, мэтинг, – шепчет кто-то Ване в самое ухо.

– Чего?

– Эх ты, дярвеня! Мэтинг – совокупление животных. Покруче нашего они совокупляются. Ну, берешь? Давай, чудрила, пару дисков даром отдам!

Но тут рассмотрелся продавец, прикинул собеседника на вес и на деньги, видит – пустой Ваня, и сразу его как ветром сдуло.

За «дярвеню» Ване обидно. Как-никак под Москвой живет. Но и чувствует: правда! Хуже деревни – пригород. И он, Иван, самый что ни на есть негодящий: пригородный. Москвой придавленный, грязью заляпанный, магазинами обделенный, товаром обнесенный. Словом, ни богу свечка – ни черту кочерга. И все пригородные такие же. Вся жизнь – на ногах, в дороге. Одну дорогу и видят, а жизни настоящей – так той даже не нюхали.

Тут, вместе с обидой на пригород, Ваня вспомнил отца. Заругался на него мысленно. «Зачем в Перловке осел? Зачем до Москвы не дотянул?»

Но отца-батяню Ваня любил. Долго на него сердиться не мог. Отец у Вани был подполковник, танкист. Прожил семьдесят шесть годков. Умер – счастливый. А жил тяжело. До пенсии – так и вообще гадко. И все из-за собственного имени. Звали отца – Лазарь. Лазарь Калинович. Те, кто зла отцу не желал, звали Калина-малина. Ну а за Лазаря досталось ему крепко. И в армии, и на гражданке.

– Что за имя такое для русского человека?

Спрашивали и били. Жалели, поили водкой и били опять. Потом снова спрашивали с пристрастием.

Однако умер отец – небитым, умер довольным. Как с Северов в Перловку переехали, стал Лазарь Калинович выдавать себя за еврея, влезал в мелкие торговые дела, научился картавить, и деньги были. Но Ване отец ничего не оставил: все в последний год жизни спустил на крашеную челночницу.

С отца Ваня перескочил на покойницу жену, которая померла ни с того ни с сего, а потом на мать, которую почти не помнил.

Срочную Ваня служил на Балтике, в Калининграде. Вспомнил и про флот. И только тут заметил: держит он в руках чью-то чужую клетку, а свою на землю поставил.

– ...я ж говорю – свеженькая пташка, только вчера привезли. Бери!

Ваня вздохнул, чужую клетку к туловищу прижал, полез рукой внутрь, ощупал черного нахохлившегося дрозда, огляделся.

Прошел мимо ветеринар в куцем белом халатике. Где-то вдали мерцнул глазками розовый, ветчиннорылый и ветчиннорубленный Елима Петрович. К уху Елимы прилип казенный человек с коричневыми щеками, в синей прокурорской форме. Пряталась за широкие спины, боясь подойти ближе, белобрысая – сегодня без всякой лыжной шапочки – Пашка.

Ваня разжал ладонь, чуть подкинул и выпустил дрозда.

4

Одно время Пашка даже хотела поселиться и жить близ Новой Птички. Но это только сперва. Быстро перехотела. Тогда она через день – кроме понедельника – стала сюда ездить.

Пашка жила в Москве, в Отрадном, но работала в области. Медсестрой, и тоже через день. В Москве работы для нее не находилось. В области платили мало, зато и отстежек не требовали. А на Новую Птичку Пашка ездила, думая сперва приработать на котятках. Потом – из жалости. Потом – по привычке. А уж после – чтобы встретить Ивана. Она бы прямо тут стеречь Ваню осталась. Нормальный мужик того стоит. Да страшно. Не за себя, а вообще.

Ну а страшно потому, что попала Пашка однажды в близлежащий лесок. Теперь мимо этого леска проходила она, втянув голову в плечи и закрыв глаза. Но и с закрытыми глазами видела то же, что и в первый раз: трупки птиц, лапы, мордочки и хвосты мертвых зверьков. Слышала писк живых еще...

После этого Пашка стала звать Новый Птичий – Невольничьим рынком.

5

Елима Петрович вышел из подсобки и обтер руки о кожаный новенький фартук. Он любил сделать что-нибудь собственными руками. Хоть нужды давно и не было: был наверху, наличку считал стопками, мог бы и отдохнуть. Но Елима был мудрец, знал: одна работа делает свободным. И вообще: труд сделал из обезьян человеков. А на Птичке, случалось, он сам из этих человеков обезьян делал. Словом, Елима пыхтел, сопел, рук ни на миг не покладал.

После обеда народу стало больше. Цепко оглянув ряды, Елима Петрович сразу заметил непорядок. Верней, непорядок этот еще только готовился, но он даже и подготовку заметил: обернулся, махнул кому-то рукой.

6

Казенный человек с бурым, морщенным, как сухая фрукта, лицом – еще недавно был пристав. Теперь – бывший пристав. Этого слова, «бывший», он не выносил. Правда, и поперли его из приставов совсем недавно, так что вполне мог сойти за пристава настоящего.

Бывший пристав Трофимьев вмиг оказался близ Елимы Петровича.

– Ты зачем в форму вырядился? – зашипел на пристава розовый Елима. – Хочешь, чтобы тобой занялись как следует? А потом и всеми нами? Ты – бывший. Бывшим быть и обязан!

– Не хочу... Не буду бывшим! – плаксиво заговорил Трофимьев.

– Сгинь отседа, – вдруг смягчился Елима Петрович, – сгинь, иди в подсобку. Счас для дела потребуешься.

7

Не давая продавцу опомниться, Ваня отворил вторую клетку, за ней третью, сбил заднюю перегородку со стеклянной попугайской витрины, выпустил с десяток волнистых, перескочил через какие-то коробки, обрушил ногой поставленные этажеркой ящики, ухватился за купол громадной совиной клетки, отворил ее...

Шум и гвалт плотной волной потекли по рынку.

Одна птица – видно, полумертвая – тут же брякнулась оземь. Еще две – полетели низко и кривенько, но вместе, парой. Еще несколько взметнулись вверх. Крикнул резко и зло выпущенный на волю скворец. С перепугу начал петь, а потом вдруг замолк черный дрозд.

К Ване бежали охранники. Хватал за грудки продавец. Ваня огрел продавца своей собственной, так и не проданной клеткой, клетка обломилась в сторону, в руках осталась только дверца. Дверцу Иван сунул за пазуху.

Он думал – его изувечат, убьют, пятое, десятое... Ошибся.

Не одна лишь волна злобы окатила Новую Птичку!

Кой-кому Ванина забава страшно понравилась. Сразу несколько покупателей – один даже очень приличный, в мехах, в перстнях, – потянули руки к клеткам. Выпустили, смеясь, еще нескольких птах.

И завернулся винтом под куполом рынка небольшой, но крикливый вихрь, видно снарядившийся в птичий вырей! Словно собравшись за море, кружили и кричали птицы, ища выхода из ангара.

Этот ошеломляющий звук, звук полученной «за так» свободы, сделал Ваню на миг пустым, бескостным. Птичий звук был лучше жизни, был приятней и справедливей ее. От радости и от счастья Ваня закрыл глаза.

Тут его сзади чем-то тупым и огрели.

8

Из-за раздухарившихся молодчиков, выпускавших почем зря чужих птиц, Пашка никак не могла добиться до Ивана. Она толкалась и щипалась, но продавцы и покупатели радовались и злобствовались, реготали и рвали на себе волосы, показывали вверх и друг на друга, трясли животами, стояли плотной стеной.

Ваню потащили – за этим Пашка следила безотрывно – в подсобное помещение. Но в какую именно дверь затолкали, этого заметить уже не могла. Чуть не ползком, ударяясь о задницы и колени продавцов-покупателей, пробралась она к северному входу, стала дергать запертые двери. Заглядывала и в двери открытые.

Ивана нигде не было.

9

Очнулся Ваня от воздуха. Воздух бил в нос, холодил виски. Зимне-весенний день уже сильно клонился к вечеру.

– ...скажи за это спасибо Елиме, – услышал он над собой зычный командирский голос и тут же попытался встать.

Однако держали Ваню крепко. Да и руки его оказались связанными.

Какой-то бетонный закуток. Задний двор, что ли? Людей – нет, кошечек-собак тоже не видать. Но небо московское дымится, огни вечерние московские вдали посвечивают!

Казенный человек бурой мордой своей лез прямо на Ваню.

– Т-т... товарищ прокурор, – решил схитрить Ваня, – я это самое... Я ж не нарочно...

– Какой я тебе, к чертям, прокурор. Пристав я! Не знаешь формы, дурак?

– Ладно,пусти его. Слушай сюда внимательно. – Охранник с нашивками на рукавах и на груди повертел головой, как будто ему мешал дышать туго застегнутый ворот. – Ты тут пташек на пять штук баксов повыпускал. А еще штраф с тебя. За дебош. Счас хозяин придет, он точно урон определит.

10

Елима Петрович, только для порядку заглянувший в каменный мешок, брезгливо поморщился, сказал: «Чтоб я этого обалдую больше здесь не видел», – повернулся, но, уходя, призадумался.

Ставить Ваню на «счетчик» он не желал. Не потому что жалел Ваню. Знал: бесполезно. А бесполезных вещей Елима Петрович давно уже не делал. Ну, а раз бесполезно, так и надо подобрей к человеку. Тем более после сытного обеда гневаться грех.

– Ты, конечно, сильно мне тут напортил. Но зла я на тебя, Иван, не держу. Может, так оно и надо, птичек иногда выпускать. Даже праздник такой есть – Благовещение. Для выпуска птиц предназначенный. К этому празднику птичек на Руси раньше и выпускали. И сейчас такое, может, случается. Но ты, Ваня, поперед праздника забежал. Нету его пока, праздника, нету! А вот на рынке ты мне порядок ух как испортил. А порядок – он всегда и во всем быть должен. Поэтому ты вот что... Убытку от тебя, конечно, много...

Елима Петрович на миг запнулся.

– На «счетчик» его! – захрипел охранник, обрывая пуговицу с ворота.

– Ты охолонь, Василий. – От собственной ласки Елима Петрович даже вздрогнул. – Охолонь, расслабься. А я пока подумаю.

Елима стал думать. Кожаный фартук на его животе из морщинистого стал гладким.

– В общем, сделаете так: праздник, он все равно когда-нибудь да будет. Так что вывезите его отсюда – и под зад коленкой. Ну, в общем, с миром отпустите. Если, конечно, у вас у самих к нему вопросов нет. И чтоб духу его здесь больше не было! Вот тебе, Трофимьев, ключи от машины.

Елима Петрович не спеша возвратился в ряды.

– Как не так, – бурчал, выводя Ваню из каменного мешка за ворота, бывший пристав. – «Отпустите с миром!» И рынку от него убытку на пять штук баксов, и государство в прогаре: теперь этих птиц полумертвых собирай, живых – лови. За уборку территории, опять же, таджикам плати. Давай его в машину, поехали!

11

Тут, на вечеряющей дороге, близ розово-клубничной Елиминой машины, Пашка их и обнаружила.

Она кинулась сперва на охранника, потом на бывшего пристава, стала кричать, кусаться. Пашку запихнули в машину, усадили Ване на колени. Там она на время успокоилась.

Шумела дорога, молчал вдалеке лес. Рядом летали вечерние птицы: то ли упорхнувшие с рынка, то ли вольные – было не понять. Потом птицы устали, сели на деревья, сняли и повесили – так Пашке показалось – на ветки крылья. И от этого уподобились людям: стали бесшумными, слабовидимыми...

12

Казенный человек сперва ничего дурного с Ваней творить не собирался. Но в машине, уже порядочно отъехав от рынка, он вдруг разнервничался, стал сам себя накручивать. Ваня показался ему преступником закоренелым и преступно безнаказным. Вина Ванина в глазах Трофимьева росла и росла. А тут еще эта девка. За палец укусила, шалава!

Думая первоначально Ваню и Пашку лишь слегка поугагать, бывший пристав вдруг все на ходу перерешил.

– А ну, останови! – крикнул он водителю.

Не говоря больше ни слова, пристав схватил Пашку за плечи и вытолкал из машины на дорогу.

– Поворачивай назад! – Трофимьев ткнул водителя кулаком в спину.

Ваня шевельнул связанными руками, а помочь Пашке ничем не смог.

Сдали километра полтора назад. Ваня снова возвращался на Птичку. До Птички, однако, не доехали, остановились напротив леска.

– Выходи, – сказал Трофимьев торжественно. – Выходи, бандюган пригородный.

Ваня понял: будут бить. И сам первый, как только вышел из машины, ударил бывшего пристава ногой. Тот упал, поднялся, крикнул протяжно, как сыч:

– Ну, га-а-ад, я тебя урою!

13

Вечер лег гуще, плотней.

Выкинутая из машины Пашка резво бежала по улице Верхние Поля. Мысли ее тоже бежали вприпрыжку. Она вспоминала то свою медицинскую службу, то Ивана... Но больше всего ей вспоминался писк из коробок, копошившийся в ушах еще со времени первого посещения леска.

Лесок этот, не большой, не маленький, раскинулся сразу за Окружной дорогой. Несколько месяцев назад, в ноябре, Пашка в него и завернула. Просто так, сдуру. Издалека лес показался ей приветливым, безопасным. Но как зашла, так сразу и присела. Потому что наткнулась на коробку. А в коробке – котятка. Мертвые, от приморозков давно окоченели. И ладно бы какие-нибудь посторонние котятка! Так нет, те самые, дымно-рыженькие, которых при ней отдала перекупке несколько дней назад незнакомая бабулька. Перекупка клялась и божилась, что пристроит дымно-рыженьких к замечательным и богатым людям. Успокоенная бабулька, отдав котят, ушла.

«Вона куда их!»

От внезапной боли в кишечнике Пашка не сразу смогла разогнуться. Наконец распрямилась, огляделась.

Людей в том ноябрьском лесу и вправду не было. Все были заняты: на Птичке разгар торговли. Обмирая от страха и от любопытства, Пашка углубилась в лес. И чем дальше шла, тем становилось страшней. Под деревьями – мертвые птицы, в коробках – штабелями – бездвижные черепахи. Котят мерзлых – немерено. А собаки... Те вообще на части порублены.

Пашка хотела повернуть назад, однако ноги сами несли ее дальше. Страшный лес еще не умер! Он хрипел, стонал, подмывал, пытался выжить.

Тогда, в ноябре, Пашка, споткнувшись о что-то мягкое, упала.

Упала она и сейчас, догоняя Ваню и тех троих, что, судя по брошенной машине, как раз в этот лесок и завернули. Дыхание у Пашки сбилось, пришлось остановиться: отдышаться, очистить веточкой ботинки от грязи, высморкаться.

14

Ваня шел по лесу с тремя утомительными придурками, но думал не про них, про птиц: «Вот летают себе, и горя нашего им нет. Бьют их из ружей влет и в силки заманивают... Но под ярмом нашим они не ходят!»

Иногда перескакивал мыслью и на людей. «Ну излупят, – думал, – ну обомнут бока. Впервой ли? А птиц таки повыпускал!»

Потом начинал думать и вовсе про постороннее, начинал – как это часто с ним в последние месяцы бывало – вести внутри себя разговоры с высокими лицами.

«Эх, Ладим Ладимирович, – говорил про себя Ваня, – Ладим Ладимирович, эх-х-х! И Вы, Митрий Анатольич, тож! Как же это так случилось? Я чего-то никак не пойму. Все вроде у нас путем, а человеку хорошему – ни жизни, ни воли. Козлам да баранам – тем раздолье. А кто честный – тому осиновый кол меж лопаток! И деньгой-то ему в харю тычут, и всем иным попрекают. Нет, не подняться честному! А подыметя – так бумажками закидают. И стоит он, дрожа, в бумажках шелестящих, как в воде: по самое горло. Вот вы по ящику правильно все говорите. А выключил ящик – и все, и другая жизнь. Особенно в пригороде. Землю всю подчистую забрали, продают ее и перепродают, чего-то ненужное строят. А людям от тех построек – что за прок? Как были все соседи в Перловке нищие, так ими и остались. Мож, оно и не так плохо нищим быть. Иногда даже радостно. С этим не спорю. Но навсегда нищим оставаться – как-то оно утомительно, а? Может, не надо так?»

«Надо, Ваня. Ну, просто необходимо, – строго так и степенно отвечают внутри у него по очереди Ладим Ладимирович и Митрий Анатольич. – Ты погоди маненько! Вам же, дуракам перловским, от этой временной нищеты когда-нибудь лучше станет. Неравенство – оно кого хошь выучит. А касательно пригородного населения – мы с кем надо строгий разговор иметь будем. В этом, Ваня, не сомневайся!»

«Нет, я че-то... Ну, словно бы – сомневаюсь! Если, конечно, сверху глядеть – вроде у нас порядок. А подойдешь поближе... Все у нас хорошо – только жизнь плохая!»

Но раз надо терпеть, раз указано пригородным без земли собственной оставаться, указано на город до скончания века батрачить – что ж: потерпим, сполним!»

После таких бесед с высокими лицами Ване всегда хотелось петь: от радости выполненного долга, от удовольствия круглых речей.

Он и сейчас пошевелил связанными руками (потому как петь и не размахивать руками не мог) и запел вполголоса:

Ехал на Птичку Иван Раскоряк,
Ехал, споткнулся и в грязь мордой – бряк...

– А раз ехал, так и приехал! – крикнул по-звериному глухо бывший пристав. – Говорю, приехал ты, Ваня!

15

Пашка все никак не могла двинуться с места.

Вроде только полтора-два кэмэ пробежала, а не было сил. Да и что-то держало, не давало идти. Отдышавшись и отплевавшись, она осмотрелась и увидела на дереве облезлого серого кота.

Тощий кот глядел на Пашку и топорщил шерсть.

«Вона кто не пускал!»

– Котя, котя, пусти! Мне надо. Ваню бить будут...

Кот еще больше встопорщил шерсть, но потом, вроде соглашаясь, мяукнул, сдал назад – так Пашке во всяком разе показалось, – и она вступила в самую гущу кое-где еще снежно белевшего леса.

Пашка шла наобум, по косой, едва приметной дорожке. Шла не оглядываясь, иногда на ходу приседая от шорохов, от вымахивавших на ее пути длинными кривыми ветвями страхов.

16

Серый облезлый кот, чуть обождав, соскочил с дерева, но тут же, словно что-то учуяв, застыл на месте. Потом, постояв и, видно, устав прятаться от собак и людей, пошел вслед за Пашкой. Шерсть его кое-где еще топорщилась, но хвост по земле больше не волочился: торчал трубой.

17

Бывший пристав уже хотел было Ваню в лесу – «на произвол судьбы» – покинуть. Но опять вспомнил про государство, про то, какой дерзкий ущерб причинил ему Ваня, и понял: никто этого обалдуя по-настоящему не накажет! Раз уж Елима не стал, другие и подавно не захотят.

А тут еще Ваня сглупил: стал развязывать – и развязал-таки – руки. Бывший пристав Трофимьев увидел, крикнул: «Вишь, развязался!» – и второй раз за день въехал Ване в ухо.

Били недолго, потому что охранник случайно задел уже лежащего на земле Ваню тяжелым ботинком по голове, и тот отключился. Для верности дали еще камнем по затылку.

В лесу становилось холодно, дальше бить потерявшего сознание было неинтересно. А наказать надо было по всей строгости.

Вдруг Трофимьев обрадовался:

– А ну волоки его. Тут рядом! Давай, шевелись!

На границе кошачье-собачьего кладбища и молодой, примыкавшей к старому лесу рощицы было вырыто несколько непонятных ям: то ли для зверья покрупней, то ли и вовсе для живших, кормившихся и умиравших близ Новой Птички бродячих людей. Вскоре такая яма невдалеке и обозначилась.

– Давай его сюда. А то Елиме накостыляют. А Ваня... Он же перловский, здесь его искать никто не станет.

Бывший пристав вытряхнул из Ваниных карманов несколько бумажек и какую-то зеленую корочку.

– Ф-ф-у, блин! Иван Ла-азаревич... – прочитал он и скривился. Но Ванину корочку себе в карман все ж таки сунул.

Ваню подволокли к яме. Перевернули вверх лицом. Пристав закашлялся, кинул лежащему на грудь дверцу от птичьей клетки, выпавшую у того из-за пазухи. Спустили вниз, прикидали мерзлой землей, еще и наверху всякой дряни: коробок со сгнившим кормом, кошачьих ленточек, досок от ящиков, собачьего смерзшегося дерьма...

18

Пашка заблудилась. Попала не туда, где обрелись те трое и Ваня. За спиной кто-то мяукал. Пашка поворотила назад. Минут через десять, сквозь деревья, она увидела пристава, охранника и водителя. Они садились в розовую, спело-клубничную, на миг засветившую себя изнутри – как работающее сердце – машину.

Вани с ними не было.

Пашка остановилась, прислушалась. Картонные коробки теперь помалкивали, не слышно было ни собачьего повизгиванья, ни птичьих криков.

«Где ж Ваня?» – Она снова развернулась спиной к дороге, лицом – ко все еще пугающему мертвым зверьем лесу.

19

Очнулся Ваня уже в могиле. Земля забила ноздри. В рот лезли смятые ленты. Дыханье стало не то что спертым – стало кончатся совсем.

Ваня знал: он уходит в землю плотней и плотней, врастает в нее глубже и глубже. Ужас сменился радостью, радость – снова ужасом: что там в глубине? Что-о-о?

Вдруг пробежал сквозь него розовый Елима Петрович. Потрогал Ваню за нос, удалился. У Елимы во всю щеку – свежая золотуха; через рот, до затылка, сквозная рана: дымит, чернеет...

Проскочил завхоз перловского Дома творчества художников, не позволивший когда-то Ване – «не член Союза!» – камни резать. Завхоз тяжело наступил ногой на грудь.

Цапнул за шею неизвестный, но страшно когтистый и немаленький – размером с хорошую собаку – Могильный Зверь.

С болью притронулась к виску Пашка.

От всех этих прикосновений Ваня совсем перестал дышать. Но и глубже в землю перестал опускаться. Зная, дыханья взять больше неоткуда, крупно дрогнул всем телом... Двинул рукой, потом ногой и вдруг со скрежещей радостью ощутил: земля, крохкая, поддается, можно, нужно наверх!

Левая рука ошупала дверцу птичьей клетки. С громадной тяжестью, подведя руку к лицу, Ваня стал этой дверцей отгребать от носа всякую дрянь. Даже загордился: без дыхания, а живет! Но это была другая жизнь: отвратительная, ужасная, с ходящей ходуном, требующей воздуху грудной клеткой, с ледяными осколками глаз, со слепым и корявым узнаванием предметов, каких на земле отродясь не бывало.

Тут мысли в голове сдавились сильней, как-то вкривь и вкось подумалось: «Для тебя, Ваня, сейчас Бог – сыра земля! Че ж из нее выходить? Еще чуть – станешь крепким, как корень, неразрубаемым, как дуб!»

– Ну нет! – рыкнул Ваня себе же в ответ. – Бог – Он один! Что в сырой земле, что на небе. А ежели всякие людишки и звери тут сквозь меня шлендают – так это, может, и не от Бога...

Мозг, еще недавно плававший красным расколотым фонарем – «это он от натекшей крови красный!» – подернулся золой, гас угольками. Вместо дыханья обычного пришел каменный, ломающий грудную клетку дых. Холод неслыханный, холод могильный сдавил сердце тяжкими льдинами.

Но однако ж руки двигались, шея покручивалась!

Вдруг разбитый ящик, державший на себе целый пласт мерзлой земли, съехал в сторону. Правой ноздрей, в которую земля набилась не так туго, Ваня хватанул капельку (ласкового, надмогильного, тепловато-гнилого, почти весеннего) воздуху.

20

Бывший судебный пристав, подхватив с заднего сиденья бутылку портвейна, широко расставляя слова, сказал:

– За упокой души... раба Божьего... Ивана.

– Слышь, приставной! Давай вернемся, отроем. За что его так? За пять штук баксов? Так у него четверть дома и сараюха в Перловке. Заставим продать – штук на пятнадцать потянет!

– Я те вернусь. Ишь, заступничек выискался. Как я есть человек государственный... .

– Приставка ты к человеку. Бывший ты – государственный!

– А это... . ничего не бывший! Я тебе вот что скажу: надо нам от всякой шелупони освободиться. Ну, секешь? Не тянет она, шелупонь, в нынешних условиях. Ни капитала, ни ума у нее, ни прочей собственности. Одна гниль да прель по сараям. Так чего им тогда в этом мире и мучиться?

21

Жизнь в могиле была короткой. Но это была именно могильная жизнь. Ваня не мог бы точно сказать, хорошей она была или дурной. Ясно одно: была она бесконечно одинокой, тесной, тускло-холодной. И цвет этой жизни был нелюбимый – темно-коричневый.

Что смерть, хотя и холодная, а живая, часто живей самой жизни – Ваня в своем пригороде догадывался давно. Теперь – подтвердилось.

В ухо вполз червь. «Может, с рынка, непроданный? А сюда переполз только». Ваня червя стерпел. Не до него было.

К губе прилип слизень. Потом, невдалеке, кто-то грубо и навзрыд рассмеялся. Снова все стихло.

Наконец, все тот же гробовой насмешливый голос, явно перед кем-то выпендриваясь, гнусно прошелестел:

– Глубже, глубже его! Рот и кишки плотней землей набейте! Дерьмо собачье в ноздри втолкните. Штумп, штумт! Дух скота – он, как сказано, в землю уходит. Штумп, штумт! Ты, Ваня, – быдло, скот! И жить тебе, кстати, осталось одну минуту. А после – сразу неизъяснимым станешь.

– Это как это – неизъяснимым?

– А так. Ничего, никогда и никому изъяснить больше не сможешь!

Иван с остервенением стал выкапываться дальше. Оборвал с губы слизня, шуганул Могильного Зверя...

Неразрушимая сила вдруг вошла в него: копай, Ваня, копай!

22

Выкопался он быстро, выкопался вовремя. Встал, встряхнулся, повел одним плечом, другим. Шапки на голове не было. С правого плеча свисал драный кошачий хвост. Под ногами валялись мертвые птицы. Из ботинка торчала головка замерзшей ящерицы. На губах, на щеках – земля.

Страшная, земляная, никогда раньше не существовавшая в нем сила, вмерзшая пузырьками воздуха в кость, продолжала распирает Ваню.

Он ступил к дороге. Однако быстро сообразил: на Птичку – поздно. Да и не для гнилой Птички сила в могиле скоплена!

Тогда он двинул домой, в Перловку. Сперва решил – через Москву, через центр, во всей красе! Но потом передумал. Миновав лес, вышел к Окружной дороге.

Тут его что-то остановило: сзади послышалось кошачье мяуканье, женские мелкие всхлипы. Ваня нехотя обернулся.

Он увидел Пашку, облезлого серого кота, а над ними – дымно-огненное подмосковно-московское небо.

Стояла уже настоящая ночь. Машин поубавилось. Сзади причитала убегавшая за день Пашка. Ваня шел, и сил у него прибавлялось и прибавлялось.

«Раз из могилы выкопался, стало быть, и жизнь земную осилю!»

Ехал на Птичку Иван Раскоряк.
Был Раскоряк – стал матрос Железняк!»

23

И вышел на небо Великий Жнец.

Чуть помедлив, взмахнул золотым серпом, стал косить невидимые, но давно приуроченные к такой жатве рати. Серп заблистал над нищими пригородами и над богатой Москвой. И брызнула из-под серпа кровь: быстро текущая, остропахнущая. Встрепенулись черви в могилах и гады в кроватях: но крови своей, из них навсегда убегающей, – не почуяли...

И хотя напугал Жнец своим серпом немногих, зато многих – тайно коснулся!

Тут же, под серпом у Жнеца, близ дороги, там, где кончалась улица Верхние Поля, ожила и шевельнулась серая, громадная, размерами сто метров на двести – так Ване показалось – птица. Не та, что, составившись из малых пичуг, кружила под сводами рынка, и не та, что сидела в запертой клетке. Другая!

Тихая, огромная, с чуть серебримым пером, от прикосновений взгляда легко ускользающая, – она, сквозь ночь, мечтала о чем-то своем. И человекам про те мечтания ничего не сообщала.

Ваня развернулся и, оставляя позади собственную могилу и громадную птицу, оставляя Верхние Поля и Нижние, отодвигая журчащее небо, мелкую речную трепотню и крупную лесную дрожь, расшвыривая в стороны скопища людских душ и комки птичьих шевелений, пошел, наливаясь неизъяснимой силой, домой, в Перловку.

24

Сзади вышагивала – готовая переть хоть до Холмогор, хоть до Северного полюса, а надо – так и до островерхого города Калининграда – белобрысая Пашка.

Вслед за Пашкой, воздев хвост трубой, шествовал серый облезлый кот. За ним подскакивала и вновь опускалась на землю огромная, неуклюжая, едва различимая во тьме птица: может, ушастая сова, может, зря потревоженный филин.

Валерий Бочков

Седьмое путешествие Синдбада

*На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.*

А. С. Пушкин

1

Какое это все-таки удовольствие – говорить о хороших, интересных людях! Испытываешь невероятную легкость, свежесть, согласитесь.

Этот Иван, Иван Александрович, появился у нас как-то неожиданно, почти вдруг, по крайней мере, так кажется сейчас, спустя некоторое время.

И те изумление и восторг, вроде тех, что случаются, когда сидишь на закате у лесного озера, уже застывшего фиолетовым стеклом, солнце только сползло за шербатый гребень черных елок, оставив рыжеватый выдох над водой – и вдруг! – огромная рыбина, сазан, допустим (кило на три, а то и четыре), вздыбив мертвый глянец фонтаном брызг, взвывается и, ловко поймав упругим зеркальным боком самый последний лучик, застынет на миг во всем сияющем великолепии!..

А после рухнет, шлепнется со всего маху обратно.

Сравнение это удачно тем более, что наша захолустная жизнь походит именно на такое вот озеро. Если не сказать болото.

Чего уж греха таить – провинция! И уж кому, как не издателю всей местной прессы (две газеты, журнал – полноцветный офсет на меловке, ежегодник – моя гордость!), этого не знать.

Пускай от Ивана потягивало некой таинственностью (наш полковник Селезнев, ссылаясь на «нюх матерого чекиста», намекал о его возможных – «весьма и весьма» – связях с иностранной разведкой. «Шпион!» Так и сказал тогда в бане), о его прошлом мы судили лишь по рассказам самого Ивана.

2

Рассказы эти связаны между собой не были. Никак и ничем, кроме личности рассказчика. А рассказчик он был хоть куда. Потрясающий!

Вот он, например, разглядывает коллекцию пасхальных яиц (а у Трящева их дюжины три, даже Фаберже есть! Штук пять).

Внимательно повернет голову с густой прической, чуть отстранится, потом поближе. Найдет интересный угол, скупно кивнет, мол, о да!

Потом проведет смуглым кулаком по подбородку, будто проверяя, хорошо ли выбрит, выпрямится и скажет. Скажет, не обращая ни к кому конкретно:

– Красота всегда напоминает мне о смерти.

(Пауза.)

– Помню, в горах Санта-Ино, Антильский архипелаг, – голос Ивана сочный, с густой хрипотцой (он вполне мог бы быть радиодиктором), – я тогда снимал репортаж об аборигенах острова. Для «Таймс».

Три дня прорубались сквозь тропические джунгли. Я, ассистент, трое местных, плюс переводчик. Мне этот малый сразу не понравился. Еще там внизу, в деревне. И я не ошибся.

Иван курил тонкие сигары, настоящие английские, с палевым, вроде слоновой кости, мундштуком. Шоколадного цвета, от них так сладко пахло черносливом.

– К вечеру третьего дня напоролись на карамарос. Местные бандиты. Выращивают коку, перегоняют в кокаин. Переправляют. В основном по морю, во Флориду. Миллиардный бизнес!

Иван выпускает облако медового дыма.

– В перестрелке я был ранен: так, царапина, ассистент убит наповал... Вы когда-нибудь видели, что делает разрывная пуля девятого калибра с человеческой головой? Арбуз! Вдребезги...

Спасся, прыгнув со скалы в горную реку. Думал ли, что разобьюсь о камни? Пожалуй, нет. Оказалось глубоко. Я играл в университетской сборной по водному поло, дважды чемпион города, – это, безусловно, помогло. Пронырнул к подножию скалы. Там, под водопадом, и отсиделись.

Сверху стреляли. Потом сбросили вниз трупы моих носильщиков.

Иван поднимает умные серые глаза, чуть печальные и бесконечно усталые. Обводит всех. Что и говорить, к этому моменту все гости уже вокруг него.

– Наступила ночь. Звезды на экваторе вот такие (показывает кулак), светло как днем. Я нашел Южный Крест. Решил пробираться к деревне. Конечно, рискованно: я был уверен, что наш переводчик сам из карамарас. Встреча с ним могла стоить мне головы. Но в деревне остался Хуан из местного корпункта «Таймс», он должен был нас дождаться и переправить в столицу.

Рассказывает он скучноватым голосом, спокойно, словно говорит о погоде.

– Полз всю ночь. На восток, вдоль реки. Пару раз терял сознание. Снова полз. Когда наконец добрался до деревни, карамарас уже были там. Переводчик привел их туда. Из кустов видел, как бандиты расстреляли Хуана, порубили мачете и скормили свиньям.

Оленька Трящева (хозяйка), дернув головой, зажимает ладошкой рот и выскакивает из гостиной. За ужином она угощала всю нашу компанию отбивными. Нежнейшими. На косточке.

3

Далее рассказ Ивана был о том, как он продирался через джунгли, выбрался к океану, на какой-то пироге достиг Гольфстрима, огибавшего здесь остров, был атакован акулой и чудом спасся, и, наконец, полуживой был подобран кораблем береговой охраны у восточного мыса Флориды. Переправлен в Вашингтон в Российское консульство.

Ох, как я завидовал Ивану! С детства бредил этими местами! Карибы... Одни имена чего стоят – Тортуга, Сент-Джон, Антилы.

Стон кливеров, звон пиастров, «Веселый Роджер» в васильковом небе...

А уж на Санта-Ино я и сейчас запросто бы смог сориентироваться без карты. На спор!

Я знал, что именно там растут самые здоровенные хлебные пальмы – в два обхвата! – и что самая ядовитая тварь на острове – думаете, змея? – ха! – лягушка. Меньше ладони, а яд такой – пальцем коснулся – и все – в дамки! Противоядия нет. Я знал, что в истоках реки Артибонитэ было найдено золото, что самая высокая гора – Пик-ла-Сэль, что все население острова исповедует ислам, я знал... впрочем, какое это имеет значение?

Для меня, не чуждого изящной словесности (грешен, каюсь – печатаю стихи в своем журнале, под псевдонимом, конечно), и в некотором роде отчасти даже философа – какой русский не мнит себя философом! – но философа, разумеется, в самом приземленном, мелко-

травчатом смысле, ни в коей мере не претендуя – помилуй бог! – само имя его – Иван – казалось примечательным.

По двум причинам.

Причина первая – умозрительная, философского плана.

Ведь есть имена, посудите сами, которые сами за себя говорят, тут и человек не нужен, и так все ясно. Аристарх или, допустим, Леопольд. Или Эдуард, Эдик. С такими в разведку не пойдешь... Нет! Спросят: с Эдуардом Ардалионовичем в разведку, как? А никак! Вот с Климом, Глебом, даже с Семеном пойду, а с этим – миль пардон, увольте!

Или Авдотья. К примеру. Тоже ведь имя. Вот как представить, вообразить Авдотью с долгой линией бедра, точеной лодыжкой и осиной талией? Никак! Вот Евгению или Анжелику, Светлану – запросто, пара пустяков, даже зажмуриваться не надо, вот они тут, вышагивают волнуяще, влажным глазом косят... А к Авдотье ничего, кроме монументально вздымающегося крупа, не приделывается.

Не поймите превратно, я вовсе не против прелестей такого рода (скорее даже за), я речь тут об именах веду. И соответственно об ассоциациях, с ними связанных.

А вот с именем «Иван» – совсем другая картина.

Оно как порожний стакан. Пустое. Как в стакан, можно благородного арманьяку (тридцатилетней выдержки в дубовых бочках из погребов провинции Коньяк) налить. А можно ханки сивушной набуровить не дай бог Наро-Фоминского разлива.

Вот вам – Иван Грозный, Иван Поддубный. А вот – Иван Дурак. А еще – Иван Тургенев, этот совсем другой Иван. А сколько еще этих безвестных Иванов-Ванек пропойц, балагуров, милиционеров, крохоборов, подхалимов, активистов? Миллионы! Вот и стерлось имя как старый пятак – измочалилось, полиняло в труху. В прах.

Теперь причина вторая, практическая.

Все дело в том, что мое имя вроде Ивановаго – порожнее тоже. Александр. Сашок, Санек, Шурик – как только не звали, вспоминать гадко! А ведь есть же Александр Македонский. Или Пушкин, тоже Александр. Так ведь нет – Шурик! Ну да я не об этом...

Ведь я не просто Александр, а еще и Иваныч! Каково? Он Иван Александрович, а я... вроде как в зеркало гляжусь. Или карта, положим, король бубей – сверху один в короне бороду распушил, снизу такой же ему улыбается.

Вам может показаться, что я ему завидую, да? Ивану этому. Да?

4

А то, что Иван Александрович что-то скрывает, стало ясно довольно скоро. И не только мне.

– Черт его знает, что за язык! Тарабарщина какая-то, – полковник Селезнев, утянув меня в бильярдную, дышал мне в лицо ядреным сигарным дымом, – я своим в Москве крутил – говорят, похоже на хинди, может, какой диалект. Индийский, может, пакистанский... А вот о чем речь...

И полковник пучил глаза и топорилил в стороны толстые пальцы.

То, что он ставил прослушки и жучки буквально на всех, секретом ни для кого не было: на то он, собственно, и «Цербер-Элит» (сам полковник произносит «элит») – служба охраны и безопасности для частных лиц и корпораций.

– А кто звонит, откуда, выяснил?

– Какие-то хитрые кодировки... Сам черт ногу сломит, – полковник выдувал тучу мрачного кубинского дыма и мрачнел сам, – нутром чую: чеченский след!

И снова пучил глаза.

Все началось с этих странных звонков.

Каждый вечер примерно около девяти Ивану кто-то звонил.

Его мобильник тренькал – именно тренькал, скромненько так (в отличие от наших телефонов, взрывающихся распоясавшимися оркестрами), Иван говорил «да», слушал ответ. Потом произносил фразу на непонятном языке и выходил из комнаты.

Возвращался он минут через десять. Как ни в чем не бывало.

Ни тебе объяснений, ничего. Молчок.

Ведь обычный, нормальный, в смысле, человек как? Вернется – скажет: дядя Коля из Житомира звонил. Или тетя Мойра. Из Баку. Или Тель-Авива... Ведь так?

5

Иван рассказывает про Ирак. Как он переправлял оружие через границу.

– Коршуны Хусейна. Что-то вроде элитных частей СС. Отборные головорезы. Это тебе не исламские мученики. Стальной прагматизм в борьбе за власть. Никаких принципов – цель оправдывает средства!

Тот же спокойный баритон, словно диктора Кириллова слушаешь.

– Всю оккупацию сидели тихо. Когда стало ясно, что янки выдохлись, начали группироваться. Потребовалось оружие. Вышли на меня – я как раз на Кубе был, встречался с Раулем. Я его в свое время здорово выручил. С той блокадой. Хороший мужик, правильный.

Иван чуть кивнул.

Все почему-то тоже скупно закивали.

– Коршуны хотели только новейшее. И только лучшее. Американские «Гризли» с самонаведением, израильские «Книзарты», «Люмерсы». Короче, последнее слово техники.

Иван звякает льдинками, покручивая стакан.

– Встречаюсь с ними в Мюр-Кайджи. В соляных пещерах. Это на курдских землях. Груз доставлен? Доставлен. Звоню ассистенту: деньги переведены? Да, переведены! Пожали руки, можно обратно. Но не тут-то было...

Молчит.

Делает глоток.

– Вы когда-нибудь видели, что происходит с человеком при прямом попадании из «Люмерса»?

Молчание.

Лишь страстная Диана Степанова, плотоядно раздув ноздри:

– Что?

Иван поднимает глаза, смотрит долго, чуть щурясь, вроде прицениваясь. Или прицеливаясь. Отвечает:

– Чпок!

Произносит он это смачно, сочно откупоривая букву «п».

Диана от этого бутылочного звука почему-то краснеет.

И отворачивается.

Смутить Диану, нашу хромоножку-проказницу, непросто (ей ампутировали ступню после покушения на ее мужа. От самого господина Степанова лишь фарш остался пополам с баварским железом. Она только подходила к машине, когда сработал заряд; врачи говорили, жуткое везение!). В прошлом «мисс Челябинская область», со всеми вытекающими последствиями, Диана, потеряв супруга и часть ноги, унаследовала всю степановскую империю развлечений: три казино, дюжину кокетливо раскрашенных стекляшек с автоматами и пивом, два полулегальных борделя, неказисто прикидывающихся кабинетами физиотерапии и лечебного массажа. Что-то еще по мелочи. Словом, вдовушка хоть куда. Непоседа.

Даром, что без ноги.

Меня в этой его иракской истории смутил момент с соляными пещерами. Дело в том, что у курдов испокон века были проблемы с солью, вернее, проблема была в том, что соли не было. На их землях. Надо будет про этот Мюр-Кайджи дома в «Британнике» поглядеть, может, ошибаюсь. Всяко бывает...

6

То, что Диана бесповоротно втюрилась в Ивана Александровича, стало очевидно к концу января.

Она сидела в тихом изнеможении и жадно впитывала его рассказы. Когда он молчал, она провожала каждый его жест кротким умильным восхищением. Сладкая грусть пополам с райским блаженством.

Мы по-прежнему собирались каждый вечер в нашем деловом клубе, кроме тех редких дачных или охотничьих вылазок: зима выдалась морозной, даже по нашим, совсем не южным, понятиям. Минус тридцать, а то и ниже.

Полковник Селезнев вдруг странным и на удивление кардинальным образом изменил свое мнение об Иване.

Он по-прежнему записывал все телефонные разговоры, рылся в его электронной почте (наш «Гранд Отель», где жил Иван, был нашпигован полковничьими штучками), пытался навести какие-то справки через своих (как он говорил, хитро подмигивая всем лицом) «коллег в Центре».

Похоже, что именно кто-то из этих «коллег» и подкинул полковнику новую версию.

– Он из группы генерала Грязнова, Индо-Пакистанский сектор, – с мрачной драматичностью произнес полковник. – Как я сразу не догадался? – Он смачно плюнул в камин. – Группа «Зет». Неудивительно, что даже в конторе на него никакой информации нет. У них секретность – «ноль». Люди-призраки... – добавил он.

– Так что, он из ваших? – спросил я.

Полковник мрачно кивнул:

– Из наших...

И снова плюнул.

Позже случился разговор, который окончательно убедил полковника в правильности этой версии: «Наш, – щерясь крупными, как фасоль, зубами говорил он потом мне. – Нутром ведь чуял, что наш!»

За десертом зашел разговор о собаках.

Иван оказался не только поклонником, но и большим знатоком.

Увлеченно рассказывал о классификации, истории разных пород, забавных собачьих случаях.

Рассказал, как они с принцем бин Даудом охотились на степных лисиц. Иван подарил принцу пару русских борзых и учил его тонкостям нашей псовой охоты. Принц, сам страстный охотник, был в невероятном восторге: «Прослезился даже, потом снял с мизинца перстень с изумрудом в семь каратов (а такие крупные изумруды дороже алмазов), говорит: «Ты теперь как брат мне, Иван».

А еще для меня, например, оказалось полным откровением, что наша русская борзая была выведена от английской борзой, всегда был уверен, что наоборот, – ну вроде как с радио, Попов – Маркони...

И что в начале девятнадцатого века каждый уважающий себя помещик просто был обязан держать борзых (типа как у нас это было с «шестисотыми»), своры доходили до сотни и больше.

И что стандарт породы был установлен лишь в 1902 году, и ему соответствовали всего пятнадцать собак! Пятнадцать!

А индекс растянутости кобелей около 102 сантиметров, а сук – около 105. Суки, они чуть пластичней. Чем кобели...

Ну да бог с ними, с суками.

Просто, когда Иван рассказывал про борзую, полковник, будто вспомнив что-то вдруг, таким простачком, перебил его:

– Да-да... А, кстати, вы случайно генерала Кутепова не знаете? Мне говорили, большой любитель... Борзых, в смысле, соба...

Иван железным взглядом обрезал его на полуслове:

– Не имею чести знать.

Произнес, отрубив каждое слово, и вколотил их с оттягом. Как гвозди.

Полковник стушевался, заморгал, мучительно улыбаясь красивыми фальшивыми зубами, зазвенел ложкой, выскабывая крем-брюле, потом вовсе уронил розетку и полез под стол.

Из-под стола подмигнул мне и показал большой палец.

7

– А вы знаете, господа, как африканцы племени мгулу разделяют тушу слона? Это крайне любопытно. И поучительно отчасти. Дело в том, что мгулу живут в каменном веке. Сегодня. И в каменном веке. Представляете?

Все уже вокруг Ивана.

Диана млеет рядом. Их отношения явно продвинулись. Она всю мнет его рукав, крадучись кладет ладонь на колено.

Полковник, поймав меня взглядом, скосил глаза. Сделал лицо. Позже, утачив за пуговицу в угол, прошептал мне в ухо:

– Наша-то хромоножка его...

И сделал неприличный жест руками:

– У меня и пленочка есть...

Я пожал плечами.

– Эх, – с обидной безнадежностью махнул он, – интеллигент... Это ж какая зацепочка!

Я понимающе закивал: «А-а-а!» И невпопад процитировал, чуть переврав:

– И в благодарность за его лобзанья,
Которыми он будет вас душить,
В приливе откровенности сознался...

Селезнев перебил меня:

– Сечешь ведь! Когда захочешь... – И добавил: – Высоцкий, да? Люблю!

8

Очевидно, полковник решил использовать свою тайную паутину информации, компромата, шантажа и бог весть чего еще, дабы через Диану прояснить хоть что-то относительно нашего гостя.

Методы полковника Селезнева работают безотказно. Профессионал, что и говорить.

Уже через пару дней Диана рассказала ему все, что знала. Увы, ничего нового: что «да» – звонки и разговоры на чудном языке почти каждый день, пару раз звонили даже за полночь,

и что «нет» – Иван на эту тему не говорит. Да, пыталась. Несколько раз приставала, расспрашивала. Отмалчивается.

«А однажды взял меня за подбородок, в глаза посмотрел – от этого взгляда вот такие вот мурашки по спине – жуть! – и сказал: «Двухходовка! Или грудь в крестах, или голова в кустах! Миллионы! Миллиарды!»

Полковник взлохматил пегие остатки волос, простонал:

– Я так и знал! Миллиарды! Вот ведь сволочь какая! Как бы в долю войти... А, Диан?

9

Вдруг Иван исчез.

Не появился один вечер. Другой.

Полковник злобно косился на красноносую нашу хромоножку, та шмыгала и терла глаза комком платка – явно она все испортила, дура!

Все наши слонялись из угла в угол, скучно напиваясь и цепляя ногами за ковры, на бильярде и в карты играть не хотелось, даже ужин с лобстерами из штата Мэн, которых так ждали всю неделю, прошел вяло.

Надо было признать, что Иван стал не просто любимцем нашей компании, он стал ее стержнем.

Иван появился на третий день. Бодрый, яблоки щек с мороза. Улыбнулся, как всегда, с прищуром.

Ну вот и слава богу – облегчение-то какое, выдохнули все.

А потом все закрутилось-завертелось, карусель, да и только. Мне как раз привезли щенка, белого с черными ушами, мордатый – ух! – из Португалии, города Лиссабона. Февраль уже был, точно, чуть потеплело сперва, а после метель на неделю зарядила, холод, да еще с ветром – вот тебе наша зима русская, будь здоров, не кашляй!

Наши только и шушукались про Иванову «двухходовку»: Диана по секрету, взяв страшную клятву, рассказала каждому, по очереди. Строили всякие нелепейшие предположения, изнывали от зависти и любопытства.

Тут-то все и разрешилось.

Диана появилась в клубе рано. Потребовала шампанского. Принесли. Она кричит: «Всем!»

Возбужденная, размахивает руками, пальцы топырит. На пальце – кольцо. Чистейшей воды, карата три. Изумруд.

– Иван, – сама задыхается, шея краснотой пошла, пятнами от волнения, – Иван мне предложение сделал! Свадьба на Пасху. Воды-то дайте, Христа ради! – И полковнику тихо: – Мы в доле! Ты себе не представляешь, Вова! Миллиарды!

Вот тебе раз!

Тут как раз и жених пожаловал – Иван пришел чуть позже, перед самым ужином.

Сдержанно, как обычно, со всеми раскланялся – кивок да полуулыбка. Как английские лорды в кино. Даже и не понять, то ли улыбнулся он тебе, то ли так, почудилось. Ну, да к этому все давно привыкли.

Ужин прошел как обычно, а вот после ужина, когда все перебрались в курительную, вот тут-то Иван и раскрыл свои карты.

– Палладий девятнадцать.

Иван сказал это и откинулся в кресле, неловко прикусив большую «Монте-Кристо» и щурясь от сигарного дыма: он обычно толстые не курил. Щурился и разглядывал нас, одного за другим.

А мы молчали.

Ждали про «двухходовку».

Мягким железом цыкали напольные часы, нервной искрой постреливал камин, на кухне Арина глухо, как в подушку, ругалась на кого-то матом.

– Палладиёвая мельница?

Иван снова оглядел всех по очереди. Брезгливая жалость. Последний раз на меня так смотрели на семинаре по политэкономии.

За его спиной упирался в потолок царь Петр, портрет маслом. Работы знаменитого Шмазунова – это наш меценат Трящев заказывал, у него еще прибаутка на этот счет: «На искусство и... – денег не жалеи!» Так и действует, юрист, не жалеет.

Царь дико пучил глаза на ветчинном лице. «Я глаза всегда на десерт оставляю», – гордо выпячивался Шмазунов в своей мастерской. Я тогда еще чуть не ляпнул: «Может, поэтому они вдвое больше, чем надо, получают». Усы котовыми хвостами стреляли в верхние углы рамы, а сама рама лоснилась золотыми бубонами плодово-ягодных наворотов и кренделей. Цыганщина, разнузданная цыганщина!

Мне почему-то вдруг сделалось стыдно, неловко. Словно я просидел весь вечер с растегнутой ширинкой, а заметил, лишь уходя, в гардеробе. Я вдруг взглянул на все вокруг глазами Ивана.

Какая дилетанщина! Стыд!

Больше всего это походило на дрянной драмкружковый спектакль – дешевая бутафория. Гнусность! Все эти зеркала, фальшивые пальмы, мореного дуба паркет, золотая лепнина по потолку, слоновьи кресла из Англии – какой китч, господи! А лица! Какие персонажи!

Эти откляченные мизинцы мясистых рук!

Ненароком выскользнувшие из-под манжет швейцарские хронометры.

Золотые зажималки, никак не желающие сидеть в темноте кармана.

Пошлятина!

И эта хваткая невеста, на своем шведском протезе ухитрившаяся проскакать – прыг-скок – по всем кроватям здесь присутствующих, и полдец-полковник со своим белоснежным оскалом, и недоучки братья Гольдберги – наши бензиновые герцоги, и красномордый хам и мерзавец мэр, и слюнявый меценат Трящев со своей вульгарной душой женой, и судья – изнывающий педофил и страстный рыболов-охотник, грубый Рафик Муюмов с огрызанными до мяса ногтями – сеть супермаркетов «Наяда».

Да и я сам.

Я!

Сливки общества, одним словом. Честь, ум и совесть, короче говоря.

10

Стряхнул наваждение, залпом допил коньяк. Повернулся к нему:

– Иван Александрыч, не томите... Какие мельницы, какой палладий?

– Палладий девятнадцать, – Иван строго глянул на меня, – девятнадцать... – И продолжил: – Это топливо будущего. До недавнего времени было всего лишь одно месторождение – в Кашмире.

– В Кашмире? – Это Ольга Трящева.

– В Кашмире, Индия. Штат на границе с Пакистаном. Особого интереса палладий девятнадцать не представлял. Так, ученые экспериментировали. В основном в термоядерном синтезе, чистая теория, никакого практического применения. Пока...

Иван критически оценил сигару, которая явно мешала ему, тлея в руке, прицелился и ловко метнул ее в камин.

Диана заплодировала, тут же стухнув под строгим жениховым взглядом.

– Пока... – наконец освободившаяся рука подняла указательный палец, – пока профессор Маннерстрем не изобрел свою мельницу, Палладиеву мельницу.

Иван снова обвел всех взглядом.

– Палладиева мельница – это фактически «перпетуум мобиле»...

– Вечный двигатель, – невольно влез я.

– Да, вечный двигатель! – гордо провозгласил Иван. Будто он и есть тот самый Маннерстрем.

– Палладий девятнадцать заменит все формы энергии в самом ближайшем будущем...

– И бензин? – озабоченно спросил младший Гольдберг, Сема.

– И бензин, и солярка, и уголь, и газ – все это скоро станет не более актуально, чем паровой котел. Для Палладиевой мельницы достаточно незначительное количество вещества. Происходит банальная ядерная реакция – деление ядра на две части, с одновременным выделением двух-трех нейтронов. Те, в свою очередь, вызывают деление следующих ядер. Такое деление происходит при попадании нейтрона в ядро атома палладия девятнадцать. Ну это элементарно, да?

Все зачарованно глядят на Ивана. Рафик сладострастно обкусывает пальцы. Диана в почти что религиозном экстазе, как монашки, которым являлись ангелы.

– Гениальность изобретения Маннерстрема в том, что в его устройстве, в этой самой мельнице, палладий девятнадцать регенерирует сам себя. Как бы самовоспроизводит. И реакция протекает непрерывно и сколь угодно долго. Палладий девятнадцать, как и уран, состоит из трех изотопов, но, в отличие от урана, его конструкционные материалы и замедлитель не поглощают нейтроны столь интенсивно. По крайней мере, так утверждает Маннерстрем, исследования которого мы финансируем. И контролируем.

– Кто это «мы»? – Полковник, подозрительно.

– Все в свое время, Селезнев! Не егозите! – Иван даже не взглянул на него.

– Второе месторождение палладия девятнадцать обнаружилось в районе Бахрейна. Пожиже кашмирского, но тоже ничего.

Он сделал паузу.

– Это была, так сказать, преамбула. И у вас еще есть возможность выйти из игры. А вот все, что я скажу после... – он сурово сжал рот, – может стоять каждому из вас головы. Или сделать вас богатыми. Немыслимо богатыми.

Часы зашипели, словно вдохнув, и пробили одиннадцать.

Иван дождался, пока медный отзвук не умер, сказал:

– Итак?

Никто не встал.

Из игры выходить никто не хотел.

11

– Это двухходовая операция. Фаза номер один: ликвидация кашмирского рудника. Моя группа уже на исходной позиции; я сам все проверил неделю назад – ребята что надо, не подведут. Используем термоядерный заряд, так называемую грязную бомбу. Цель – долгосрочное радиационное заражение месторождения. И, как следствие, невозможность дальнейшей разработки и добычи палладия девятнадцать.

Фаза номер два: скупка акций бахрейнского рудника. Это недешево. И непросто. Земли принадлежат эмиру. Он не в курсе. Мы работаем с принцем бин Даудом. Получить контрольный пакет он нам не даст, надо постараться выжать из него максимум. Главный козырь – мы контролируем Маннерстрема. Как только мы переводим деньги и получаем нашу долю акций

месторождения, я выпускаю профессора к журналистам, пресс-конференция. Демонстрация Палладиевой мельницы.

Иван замолчал.

12

– А о каком доходе, ну, в процентном смысле, мы говорим?.. Ну так, общий порядок цифр хотя бы... – осторожно поинтересовался старший Гольдберг, Роман.

– Я боюсь, дорогой Роман Абрамович, вы таких цифирей и не видывали. Вы ведь астрономией не увлекаетесь, нет?

Роман покрутил мясистой головой.

– К примеру, остров Манхэттен, там, где сейчас город Нью-Йорк, был приобретен у индейцев племени канарси за несколько стеклянных ожерелий и связку бус. Общей ценой в семь долларов. Каков процент дохода в данном случае, а?

Расходились все за полночь, торжественно-серьезные. Как после церковного отпевания.

Я догнал Ивана в вестибюле:

– Иван Александрыч, позвольте вас украсть на часок у вашей милой невесты?

Иван чуть удивился, клюнул носом Дианину щеку, сказал «да, конечно, разумеется».

– Дианочка, машину не присылай, мой Толик его отвезет. Клянусь, не дольше часа! – сказал я приторным тоном, от которого меня самого затошнило.

Приобнял Ивана за плечо, продекламировал:

– Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...

И мы вышли в колючую от мороза и звонкую от тишины ночь.

На самом деле, наша прогулка (беседовать дома, в офисе или джипе я не хотел из-за нашего любопытного полковника) заняла не более получаса.

Иван оказался не только сообразительным (в чем я не сомневался ни секунды), но и на редкость широким, я бы даже сказал, щедрым человеком.

Когда я его усаживал в машину, он пожал мне руку, засмеялся и сказал:

– Мне это видится как начало хорошей дружбы. А, Александр Иваныч?

Похоже, это из какого-то фильма, не могу вспомнить...

13

«Солнце на экваторе садится быстро, словно тает, плавится, стекает в океан расплавленным маслом...»

Иван перегнулся через мое плечо, глянул на экран компьютера, накапав на клавиатуру:

– Не, не годится. Ну что это за стиль? Ты что, Набоков? Проще надо, без декадентщины. Фыркая, как бодрая лошадь, начал тереть себя полотенцем. Сильно стуча пяткой по доскам палубы, запрыгал на одной ноге, выбивая из уха воду.

Ухнув, повалился в шезлонг рядом:

– Ты чего не купаешься? Вода на закате – м-м-м! Сказка! Нырнул бы, до острова и обратно прошелся бы кролем, ну? И описал бы тут же. Ощущения и впечатления, а? Как старина Хэм. Старик и море.

– Я акул боюсь, – отмахнулся я, – у них как раз ужин начинается.

– Какие на Карибах акулы?

За три недели Иван умудрился сгореть, облезть и загореть до неприличной для русского человека копчености.

«Закат на экваторе – это пиршество! Каннибальская оргия, где багряный кадмий пожирает красно-оранжевую охру, а лимонный стронций...» – нет-нет, это какая-то дичь уже...

Я удалил и этот абзац. Может, действительно выкупаться?

Иван снова:

– Слушай, Достоевский, ты б лучше написал, как ты меня шантажировал. Там, ночью. Алчность свою бы описал высоким штилем, нахрапистость. А? Вот это был бы рассказ!

Я плюнул, захопнул компьютер – все равно ведь не отстанет! – и сказал:

– Иван! Я же не виноват, что ты отъявленный формалист и пижон, и в погоне за внешними эффектами забываешь о сути. Тщательней надо! Во-первых, на острове Санта-Ино не разводят свиней: все аборигены – мусульмане. Потом – соляные пещеры. А в-третьих, как уже имел честь сообщить, я окончил физфак, и твой палладий девятнадцать – просто бред сивой кобылы. Палладиева мельница! Кащенко!

Иван фыркнул:

– Ишь ты! Бред! А остальным очень даже понравилось... Как они миллионы переводили – ух! – красота! Как вспомню – дух захватывает... Полковник все кричал: всем поровну, коммунист хренов, обоих Гольдбергов как одного пайщика считать. Помнишь?

Конечно, я помнил, как такое забыть.

А вот как бы это все теперь описать, высокохудожественно, в смысле – бьюсь уже неделю – все какая-то размазня фруктовая лезет. Перечитывать стыдно, честное слово. Пожалуй, прав Иван, лучше искупаться.

Олег Рябов

Дочь профессора

1

Марина Прокопьевна Попова, в девичестве Лисовская, вышла замуж и не так чтобы рано, но и без задержек: учась на последнем курсе института. Жених ей попался красивый и завидный. Но было все же в ее браке что-то такое, что вызывало и задумчивые, даже недоуменные взгляды, и досужие разговоры, и шепоток за спиной, и даже недовольство родителей. Причем и с той и с другой стороны. Мезальянс? Может быть. Только какой-то неправильный он, странный, что ли, мезальянс, перевернутый с ног на голову.

Ведь что подразумевает мезальянс – неравенство брачующихся сторон, или возрастное, или социальное. Но с этой стороны все в порядке: жених, Саша Попов, всего на три года старше Мариночки. В социальном плане – у Мариночки среди ближайшей родни за последние двести лет было двадцать профессоров, пять писателей, три адвоката и два министра, и живет она с мамой и папой в обычной четырехкомнатной профессорской сталинке. А у Саши Попова папа – генеральный директор какого-то Федерального зернового союза и председатель совета директоров какого-то Агротехбанка, и еще есть куча всяких контор, которые он возглавляет. Да и в советские времена Сашин папа чем-то по снабжению солидным рулил.

Вот тут-то и скрывалась та самая закавыка, из-за которой косо посматривали на Мариночку в семье все. По воскресеньям в доме профессора без приглашения собирались всякие и близкие, и не очень близкие родственники – такова была давняя традиция, а традиции надо создавать, лелеять и беречь, ибо от давности традиций зависит и глубина культуры. Так вот, как-то раз на таком сборище в доме профессора зашел почти научный спор о предстоящем замужестве Мариночки. К тому времени даже еще не решен был вопрос со свадьбой, но среди пришедших на пироги всяческих родственников оказалась двоюродная бабушка, переводчица древнегреческих текстов в издательстве «Наука», где она в позапрошлые времена вместе с академиком Гаспаровым работала. Так вот эта бабушка так прямо и сказала:

– Ты что же к ним в качестве прачки или кухарки идешь?

– В смысле? – встрепелась Мариночка.

– А в том смысле, что ты же читала Марселя Пруста «В сторону Свана»? Там сын нотариуса женится на принцессе какой-то, что ли, но в глазах всех своих родственников он опускается до уровня авантюриста. Так дамы высшего света дарили благосклонностью иногда своих кучеров. Это ведь мезальянс, голубушка, только в инверсии. Ты из почетного положения дочери профессора превращаешься...

– Перестань, бабушка, я не хочу тебя слушать, а может, и любить больше не буду, если ты не перестанешь.

– Да, наверное, не перестану. У твоего, этого, по-моему, даже высшего образования нет!

– Да, нет! – с вызовом отвечала Мариночка.

– Ну, а школу-то хоть он окончил?

– Нет, и школу он не окончил.

– Ну, я так и думала. Сову по полету видно.

– Что это значит?

– Потом узнаешь, да поздно будет.

В разговор по очереди вступали все родственники, а Мариночке приходилось только отстреливаться.

– Господи, а я-то сумасшедшая, ломалась-ломалась, бегала-договаривалась: тебя же, дуру, в Голландию на стажировку на три месяца берут! – Это уже мамочка родная, заведующая кафедрой начертательной геометрии в строительном институте, где Мариночка училась, вступила в разговор и обратилась ко всем присутствующим: – У нее, у нашей дуры набитой, курсовой проект опубликовали в сборнике студенческих работ во Франции. Самому великому Ренцо Пиано, итальянскому дизайнеру и архитектору, который сейчас оформляет набережные в Голландии, очень понравились трехгранные пилястры, которые придумала наша Мариночка, и он приглашает ее поработать в своей группе. Я уже и в ректорате договорилась, что Мариночку в творческую командировку в Голландию на три месяца отправляют. А там, может, и учиться еще будет возможность остаться. Ну, что тебе, приспичило, что ли, замуж-то?

– Ничего мне не приспичило. А если вы о чем-то нехорошем, то я вообще-то еще девушка. Я люблю его, и он меня любит. А если вам с вашими повышенными образованиями и знаниями это вполне человеческое состояние незнакомо, то мне вас очень жаль, и помочь я вам уже ничем не смогу. Хотя всех вас я очень люблю и уважаю до пятого колена и гарантирую, что и семья у меня будет, и дети с мужем будут, и профессором в сорок лет я буду. У меня все получится, если вы мне будете не мешать, а помогать.

– Ну, что же, – как-то уж очень скорбно подвел итог воскресной родственной встречи Мариночкин папа, доктор медицинских наук, специалист по онкологии, – домнатус ад бестиас.

– Давеча не значит таперича, – парировала его сентенцию Мариночка.

– Что ты имеешь в виду?

– Да то же самое, что и ты. По-моему, ты единственный в этом доме понимаешь меня, но хочешь сохранить себя на всякий случай.

– Дело не в этом. Просто я тут с полгода назад в каком-то вестнике судебной медицины прочитал странную и, как мне тогда показалось, даже смешную статью. Я бы позабыл про нее. Но вот сегодня... Автор – немец, доктор наук, психолог рассматривает брак и, в частности, рождение первого ребенка в зависимости от физиологического состояния женщины. Оказывается – не так уж и много у женщины возможностей забеременеть. Описывается большое количество случаев, когда женщины, не беременевшие много лет, вдруг точно знали и заявляли: «Я вчера забеременела!» А еще удивительнее случаи, когда безнадежно бесплодные женщины знали, что вот сегодня они могут забеременеть, и беременели. И женихи, которые по много лет ухаживают за дамой сердца, ждут и часто дожидаются, когда дама созреет и будет готова. Так же часто мы можем удивляться случайным беременностям от случайных связей, когда рядом были достойные и приличные партии и даже возможности замужества. Ну, в общем, такая смешная статья. Я пересказываю сейчас ее содержание безотносительно к нашей ситуации, но если природа распорядилась так, как вышло, то надо знакомиться с мальчиком, с его родителями и решать практические вопросы.

2

В Мариночке росту метр семьдесят пять, музыкальную школу она окончила, изостудию, школу с углубленным знанием английского языка и в большой теннис еще с десятилетнего возраста регулярно играла. Ну и, конечно, красавицей она была, как и почти все девушки, которые замуж уже собрались.

Как и Мариночка, ее жених Саша Попов был единственным ребенком у своих родителей. Школу он действительно не окончил: в пятнадцать лет решил начать самостоятельно деньги зарабатывать. Парнем он был упрямым, с родителями поругался и стал помогать на вещевом рынке своим теткам родным, которые челноками гоняли в Турцию да в Грецию за дешевыми импортными шмотками. С первых же более-менее приличных и честно заработанных денег он решил заняться самостоятельным бизнесом: возить из Польши и продавать французскую

косметику. Соблазнил Саша посулами еще двоих своих друзей детства: один из них ради бизнеса институт бросил, другой давно искал, к кому бы прислониться. Дело пошло хорошо, был у Саши талант: занимать пустующие ниши. Отец даже дал ему денег, кредитовав расширение бизнеса. Только вот тот второй компаньон украл у своих поделщиков все деньги и скрылся в неизвестном направлении навсегда. А первый, почувствовав, что не все деньги сладкие, плюнул на Сашин бизнес и восстановился в институте. Отец сыну долг простил, внутренне ухмыльнувшись: урок банкротства в бизнесе бывает очень полезным, и взял его помощником, посвящая в свои многочисленные операции.

Инициатива в знакомстве моих героев была на стороне Марины. Она заприметила Сашу еще зимой в спортивном зале, куда они с подружкой ходили играть в теннис. А уже летом, когда встретила его случайно на улице, то поняла она по любопытному взгляду, что и мальчик ее узнал. Марина запросто подошла к нему и спросила:

– Тебя как зовут?

– Саша, – ответил тот. – А тебя?

– Марина. Купи мне мороженое, – ответила Марина и посмотрела на Сашу довольно лукаво и в то же время вопросительно.

Так у них вроде все и срослось в смысле знакомства.

Непонятно, что у них было общего, если даже то, в чем они были равны, им только мешало: оба они, как единственные дети своих родителей, были до безобразия избалованны и тщеславны.

Саша привел своих родителей знакомиться с Мариночкиными в одно из воскресений. Выпили те вчетвером бутылку коньяку французского да два чайника чая (хотелось написать «два самовара», да только из самоваров почти никто и не пьет теперь в городе-то), съели пирог с капустой да пирог с малиной.

Под свадьбу сняли теплоход с ресторанами, буфетами, оркестрами. С молодыми спустились по Волге километров на тридцать под музыку, да под шампанское, да под «горько» до какого-то села с разрушенной церковью. Оттуда свадебный кортеж обвенченных детей должен был доставить в аэропорт, а там уже и дальше: в свадебное путешествие на круизном лайнере по Средиземному морю.

– Медовый месяц пусть во грехе поживут, а потом надо будет повенчать их, – заявил Иваныч, глядя на полуразвалившийся храм, стоящий высоко на волжской горе.

Сашин папа, которого звали просто Иваныч, как он сам всех просил, был человеком очень категоричным, и Мариночкины родители, сразу уловив это, соглашались с ним во всем. Тем более что тот взял все и расходы, и заботы по свадьбе на себя, ничего не требуя от сватов, как бы только ставя их в известность. Человеком он был более чем состоятельным. Часто он то ли прикидывался, то ли действительно уже и не представлял: чем он владеет, а чем уже нет! А чем уже снова владеет.

Был у него и коттедж в ближнем Подмоскowie, где жили только два сторожа да друзья иногда заезжали погулять – сам он, прибывая в Москву по делам из своей провинции, оставался всегда в гостинице «Рэдиссон Роял», где его все знали. Был у него и дом в Испании, который он ремонтировал уже пятнадцать лет, перестраивал и все время оставался доволен, – летал он туда раз в год. Что у него было еще, он не помнил, как не помнили этого и все его адвокаты и помощники. В общем, Иваныча достаточно хорошо знали в различных кругах (не будем уточнять в каких), и жизненный принцип у него был очень простой: я сделаю все, что смогу, но и вы сделайте все, что сможете!

Оказалось, что для молодых у него квартира уже есть: уютная, трехкомнатная, в элитном доме, с подземной парковкой, с закрытым двориком, со сторожем и консьержем.

Через год Мариночка родила своего первенького мальчика. А еще через два года – второго. А еще через четыре она не смогла защитить уже написанную и подготовленную к защите

кандидатскую диссертацию, потому что была снова беременна, и родила она двойню, двух очаровательных девочек.

Иваныч души не чаял во внуках. Если к пацанам-внукам, как когда-то и к своему сыну, он относился сурово, то от девочек, после того как они начали бегать, да чего-то лопотать, да целовать и обнимать деда, он просто таял. Семейство разрослось значительно, и стал Иваныч требовать от молодых, чтобы те перебирались жить в его большой дом, который он перестроил так, что появилась возможность двум семьям существовать в нем, практически не общаясь. Даже гараж перестроил: был на две машины, стал на четыре. Дом был действительно большой: бывший сельский клуб с облагороженным зеленым участком за трехметровым кирпичным забором, когда-то за городом, а теперь уже и не за городом. Были на этом участке размером чуть поменьше гектара и беседки для чаепитий и разговоров, и баня с зимними крытыми верандами, и летняя кухня с камином, в котором можно на вертеле зажарить если не быка, то уж барана-то или теленка точно. В таком доме, думается, пехотный батальон времен Великой Отечественной войны мог спокойно разместиться на постой.

Молодые согласились.

Хотя и Саша, и Мариночка подспудно понимали, что не желание каждый день общаться с внуками стоит за новой идеей Иваныча, а что-то другое. И это другое было понятно всем: похоронил Иваныч свою половину, Сашину маму. Сожрал ее рак моментально, на корню, да так, что, казалось, и хоронить-то будет нечего. Саша как-то легко перенес эту утрату, а Иваныч просто рвал себя изнутри на части – так тяжело воспринял он уход супруги.

3

Незаметно, но уже со времени рождения первого сынишки, практически членом новой Мариночкиной семьи стала няня, Зинаида Викторовна. Она стала няней и второму сыну, а вот теперь и с девочками возилась. Была Зинаида Викторовна доцентом пединститута когда-то, но, когда на эту научную зарплату не то что новую книгу купить, но жить-то приходилось впроголодь, пошла в няньки. Занималась она с ребятишками и музыкой, и английским, и гулять ходила, и книжки читала. Марине с ней было легко, она даже вроде не волновалась, когда ненадолго куда-то уезжала и оставляла детей на Зинаиду Викторовну, которая могла пожить с ними несколько дней. А как дочки чуть-чуть подросли, повадились Мариночка с Сашей летать по границам раз в два-три месяца: иной раз покататься в теплых краях, а то так и просто погулять. Когда у Саши что-то не срасталось по времени, Мариночка и сама могла сгонять в Милан за какими-то шмотками для детишек: маечки, трусики, курточки, обувку всякую.

Перебравшись на новое место жительства, большое семейство Марины не просто заняло свою половину дома, которая была больше чем безобразно большой, – оно практически оккупировало весь дом благодаря вездесущим детям с их шумными и все заполняющими играми. Матовые дубовые панели, никелированные и стальные поручни и обкладки, сотни скрытых светильников с приглушенным светом и сияющие дорожные люстры делали дом Иваныча похожим на турецкий пятизвездочный отель. Теперь же детские горшки, стоящие то на лестничных пролетах, то под столом в гостиной или на кухне, разбросанные по всем комнатам игрушки и книжки, рисунки фломастером на кафеле, а то и на обоях, пепельницы с окурками (Мариночка начала курить) стали превращать сказочный дворец, построенный Иванычем, в жилой дом.

А курить Мариночка начала потому, что после третьей беременности и родов опуститься ниже восьмидесяти килограммов она уже не смогла: так и болтался этот новый вес, иногда поднимаясь до гадкого центнера.

Были и другие постоянные обитатели в этой усадьбе Иваныча. Во-первых, живущий там же дядя Коля, который служил в доме «мужиком на все руки»: и садовник, и шофер, и элек-

трик, и сантехник. Он всю жизнь провел рядом с Иванычем, и никто уже не задумывался, откуда он и почему здесь живет.

Была еще приходящая уборщица, дальняя родственница покойной супруги. В обязанности ее входили всевозможные действия по поддержанию порядка и чистоты в доме и во всех остальных постройках.

Жил еще в усадьбе огромный пес-кавказец, которого держали в огороженном запертом вольере, откуда его не выпускали даже на ночь. Был пес уже старый. И вообще, с появлением детей пора было думать о том, как от него избавиться.

Постепенно, вслед за детьми, весь дом стал зоной постоянной ответственности Зинаиды Викторовны. И все с этим не просто смирились, а как-то даже обрадовались. Потому что хозяйка в доме нужна. И дядя Коля, и приходящая уборщица радостно перешли под командование Зинаиды Викторовны.

Истинная причина всех этих пертурбаций крылась, конечно, в другом: Иваныч после смерти супруги просто начал на глазах дряхлеть. Ему вдруг стало лень работать: встречаться с партнерами по бизнесу, что-то придумывать, чего-то ждать, кого-то кормить обещаниями, кого-то наказывать. Такое редко бывает с активными мужиками, но бывает. Иваныч ждал, что это дурацкое состояние пройдет, но оно все тянулось и тянулось – тянулось уже больше года. И дело тут не в возрасте, хотя и приближались семьдесят. Пора дела было передавать Сашке, а для этого он должен быть под боком. Хотя ничего не скажешь, из глупого пацана вырос умный мужик: и схватывает все на лету, и дружить умеет с нужными людьми.

К родителям своим Мариночка теперь ездила в гости совсем редко: только с Новым годом поздравить да с днями рождения. А так чтобы чаю попить, да поговорить, да чтобы еще и с внучатами – вообще не бывало. Правда, заскакивала каждый раз на минутку после зарубежных вояжей своих, чтобы вручить какой-нибудь сувенирчик. Но редко она даже раздевалась в своем родном доме: все больше наскоком, в прихожей в щечку мамулю чмокнет, сунет, стесняясь, ей какой-нибудь сверточек и побежит куда-то. И все скороговоркой: будто оправдывается в чем-то, будто виновата, будто украла что.

Это совсем выбивалось из понятий ее папы и мамы, которые почему-то считали, что встречи близких родственников, которые живут в одном городе, должны случаться каждую неделю. Но ездить в гости к Иванычу было профессорам не с руки, и чувствовали они себя в этих гостях уютно.

Папа при этих редких встречах в прихожей начинал язвить, поминая о какой-то диссертации:

– Где же она, твоя обещанная диссертация?

– Мои четыре диссертации написаны, по дому бегают, и мне их надо еще много-много лет защищать, – в том же духе отвечала ему Мариночка.

– Разденься, сядь, посидим, поговорим, – говорила при тех же встречах мама.

– Ой, мамуля, – отвечала впопыхах Мариночка, – в парикмахерскую я записана.

Были варианты: «в солярий», «на фитнес», «в автосервис», «в бассейн».

Саша полностью ушел в бизнес, который перевалил на его плечи Иваныч, и не бывал дома с раннего утра до позднего вечера. Ну, а Мариночка, видимо, родилась не научным работником, а домашней хозяйкой. Поварихой она стала прекрасной, дети у нее ухоженные, здоровые, умненькие, рубашку Саше своему каждое утро свежую, выглаженную подаст, галстук завяжет. Хотя времени у них с Сашей на личную жизнь почти не оставалось – только перед сном удавалось Мариночке с ним, усталым и вымотанным, перекинуться парой слов и предложить какое-нибудь мероприятие на выходные. Саша со всеми предложениями соглашался, но Мариночка понимала, что планы всегда могут измениться. Мариночка все понимала! Она была умная и сильная – в этом она сама себя убеждала каждый день, и это у нее получалось.

Как-то раз она, вернувшись из школы с родительского собрания не очень поздно, застала Зинаиду Викторовну на нижней ступеньке лестницы, ведущей на второй этаж, всю в слезах. Сверху на весь дом разносился рев Иванныча:

– Зинка, я тебе не то что по шее – я тебе еще и жопу дубцом напорю, курва рваная! Сказал же тебе, вошь лобковая, чтобы чай мне на второй этаж принесла. Дети у нее! Дети твои подождут, если я позвал.

Мариночка встала как вкопанная. Что-то у нее поднялось, она почувствовала – прямо из чрева, через грудь и загудело в голове.

– Зинаида Викторовна, это он что, вас обидел? Это он с вами так разговаривает?

Зинаида Викторовна посмотрела на Мариночку глазами, полными слез, и промолчала.

Как была, в модном длиннополом плаще-тренкоте «Берберри», с сумкой «Гермес Пикотин» через плечо, поднялась Мариночка по лестнице и уперлась лицом в лицо своего свекра Иванныча. Тот стоял, облокотившись о перила, в своей домашней, полосатой, похожей на больничную, пижаме:

– Послушай, ты, старый козел, – сказала Мариночка почти спокойно, но по-настоящему чуть сдерживая свой гнев, – если ты хоть раз еще посмеешь поднять голос на Зинаиду Викторовну, если я только узнаю об этом, я тебя не только с лестницы спущу, не только ноги переломаю – я тебе башку отшибу. Я тебе это точно говорю, и ты можешь в этом не сомневаться. Зинаида Викторовна ухаживает за моими детьми, заботится о них и воспитывает их, и ты должен относиться к ней как к своей любимой и ненаглядной. Понял? Если только я узнаю... Не посмотри на твое коммунистическое и бандитское прошлое.

Иванныч оторопело смотрел на эту крупную гневную красивую женщину, и всколыхнулось в нем что-то знакомое, но забытое, и испугался он, и понял, что эта женщина обязательно сделает, что обещает.

Вечером случился с Иваннычем удар – инсульт, если по-научному.

Потом восстановился Иванныч. Три недели в больничке провалялся да месяц в доме отдыха, куда чуть не каждый день ездили к нему все: и сын Саша, и Мариночка, и внуки, и дядя Коля, и даже Зинаида Викторовна.

Восстановился Иванныч, да, видимо, не совсем. Вернувшись домой, он больше все на диване лежал, а то и в постели своей, не вставая по-пустому: только если по нужде да за стол общий покушать. И еще немножко хитрить начал: подзовет внучек своих и уговаривает, что, мол, если мамка вам книжку будет на ночь читать, приходите ко мне, чтобы она и мне почитала. Девочки маме своей все доложат, а та не возражала: шла с дочками вечером в комнату к старику и читала вслух «Колобок» или «Рукавичку».

Чувствовала и Мариночка свою вину.

Андрей Иванов Стеклышко

Мы гуляем по акведуку; прохладно, но уже полегче, обещали снег, но не выпал.

Ф. говорит, что ходил на слушание в зал суда, разбирали мелкие кейсы, он слушал, забавно – верю, забавно, Диккенс так и набрался; да, да; подумал, что неплохо бы сходить с ним, но тут же оборвал себя: не сбиваться с намеченной пунктирной линии, у меня есть карта, по которой я хожу, карта Парижа, разрезанная на ровные четыре части, с собой у меня только третья часть, за ее пределы я не выхожу – ни сегодня, ни завтра.

Мне этот акведук знаком, – Ф. что-то фотографирует, – я задумался...

Прошлой осенью мы здесь гуляли с Люси, мы шли в «Харибду» на встречу с читателями, меня знобило, Люси заболела, я тоже, в тот раз было мрачно, что-то около шести, я был в глубокой задумчивости, она меня расшевелила, купила кофе, много шутила и незаметно стала серьезно говорить о своем буржуазном воспитании, о том, что она воспитана заботиться о мужчине, всегда спрашивает своего бойфренда, как он себя чувствует, не устал ли он, куда собирается, что задумал, а он никогда ни о чем ее не спрашивает, не проявляет интереса и заботы, и я подумал: у нас точно так же, так же, Лена всегда меня обо всем спрашивает, а я не успеваю, мне стало стыдно, и я сказал ей: «Тут что-то другое, воспитание тут ни при чем. Патриархат». «Да, – согласилась Люси, – патриархат». (Я тогда подумал, что она решила, будто я пытаюсь таким образом себя и ее парня оправдать.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.